

Елизавета ДВОРЕЦКАЯ

КНЯГИНЯ ОЛЬГА ДВЕ ЗАРИ

«Всё выверенно, взвешенно, даёт вжиться
и погрузиться в эпоху, почувствовать вкус слова,
раздольного и богатого, как и сама Русская земля.
Настоящий русский роман».

Ник Перумов

Княгиня Ольга

Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга. Две зари

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дворецкая Е. А.

Княгиня Ольга. Две зари / Е. А. Дворецкая — «Эксмо»,
2020 — (Княгиня Ольга)

ISBN 978-5-04-109766-0

Малуша – внучка самого Олега Вещего, наследница пяти владетельных родов. Лишь волею злой судьбы ей приходится быть рабыней, ключницей княгини Эльги. Но девушка не готова мириться со своим положением: ей надлежит достойно продолжить свой род! Малуша страстно мечтает стать законной женой Святослава, киевского владыки. Однако мать Святослава против кровосмесительной связи. Да и сама Малуша не учитывает важного обстоятельства: у Святослава уже есть две жены, и одна из них, дорогая сердцу князя Прияна, возвращается в Киев...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-109766-0

© Дворецкая Е. А., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Елизавета Дворецкая Княгиня Ольга

Две зари

Серия «Исторические романы Елизаветы Дворецкой»

Оформление серии Д. Сазонова

Иллюстрация на переплете В. Нартова

© Дворецкая Е., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *



О России с любовью

Часть первая

Малуша стояла у печи, не сводя глаз с госпожи за столом и ожидая возможных приказаний.

– Кое в чем этот змей ползучий прав, – говорил князь, покачивая в руке округлую чашу зеленого стекла. – Мы должны его женить.

Чаша была греческая – из добычи похода по Вифинии. В числе прочего ее привезли в Киев в начале той зимы, когда мать Малуши, Предславу, выдали замуж. Поэтому на чашу Малуша смотрела, как на свидетельницу создания мира. Цветом та напоминала глаза княгини – и смарагды в ее старом ожерелье, которое та надевала каждый день. Служанки, что ездили с Эльгой в Царьград два года назад, рассказывали, что вода в Босфоре такого же цвета – прозрачного, тускло-зеленоватого, немного дымчатого. Особенно зимой.

Чаша была невелика, размером с кулак Святослава. Он опорожнял ее почти одним духом, и тогда Малуша неслышно подходила, снова наливала вина, разведенного медовой водой, и отступала. Ей княгиня доверила ключи от погребцов, где хранились разные заморские редкости для княжеского стола: вино, сушеный греческий овощ, пряности, копченые окорока, осетровая икра. Малуша сама мыла дорогие кувшины – глиняные расписные или серебряные, с чеканкой, – и хорошо умела разводить вино сладкой водой.

– Я сам должен решить, с кем Етон будет в родстве, – продолжал князь, – и мне ведь нужен от него заложник! Тот, кто ему наследует. А сейчас у него никого нет – делай, что хочешь! Этот черт такой скользкий, что никем, кроме родного чада, дорожить не станет. Он ведь из могилы, жма, выполз ради того, чтобы бездетным не сдохнуть!

С безучастным лицом Малуша смотрела в угол мимо госпожи – так, чтобы заметить малейший знак, поданный ей, но по лицу ее можно было подумать, что мысленно она пересчитывает бочонки солений в погребе. Беяница, старшая ключница, научила ее так держаться – ты на месте, если понадобится, а пока не нужна, тебя как бы и нет. Тонкие пальцы пятнадцатилетней служанки неслышно перебирали несколько железных ключей на поясе. Малуше не следовало вслушиваться в этот разговор. Но она слушала, как будто он еще мог иметь до нее какое-то касательство.

Речь шла о плеснецком князе Етоне – человеке, женой которого Малуша одно время надеялась стать. Это она могла бы родить ему чадо, которое с первых дней жизни отдадут в заложники киевским владыкам. Род ее позволял рассчитывать на княжеский брак. Но глупые эти надежды продержались всего несколько дней – а потом ее девичий поясок украсили три звонкие игрушки, знак подневольного положения. Она стала рабыней уже окончательно. А ведь она не сирота, не холопка безродная, увезенная за тридевять земель от своих краев и проданная на торгу. Ее дед – внук самого Олега Вещего, бывший киевский князь, ныне посадник в деревском городе Вручем. Ее отец – бывший деревский князь, а мать, рожденная киевской княжной, была его законной женой и княгиней. Но только все это в прошлом. Родичи Малуши – вольные и знатные люди, но она сама и брат ее Добрыня – рабы княгини Эльги. Воля Эльги оказалась сильнее, чем судьба внучки пяти княжеских родов. Когда десять лет назад сгорел Искоростень, Малуше было всего пять лет. В тот хмурый зимний день она утратила все, даже свое родовое имя – Мальфрид, и стала просто Малушей. И когда Эльга произвела ее в ключницы, ей это полагалось посчитать высокой честью и милостью.

– У меня есть для Етона невеста, – сказала Эльга.

И Святослав, и Малуша воззрились на нее с равным любопытством, почти с изумлением – только сын почти в упор, а юная ключница – через пол-избы.

– Это кто же такой смелый? – недоверчиво усмехнулся Святослав.

В Киеве знали, что чудесный выход ожившего Етона из могилы – чистая правда. Сам Святослав мог это засвидетельствовать. Он нанес дряхлому Етону рану, от которой тот через несколько ударов сердца скончался у него на глазах. И он же сам три дня спустя наблюдал, как из свежей могилы старика выбирается парень неполных двадцати лет, рослый, отдаленно похожий на покойника – как могут быть схожи два человека с разницей в возрасте более шестидесяти лет. Что Святослав думал об этом – иное дело, но он мог подтвердить, что все так и было. К большому своему неудовольствию.

Однако слава ожившего мертвеца сослужила омоложенному Етону дурную службу. Теперь он, если повезет, мог прожить еще лет сорок-пятьдесят, только вот замуж за покойника никто идти не хотел. Невеста требовалась не абы какая – достаточно знатная, чтобы брак с ней не уронил достоинства князя, но из такого рода, чтобы союз с ней Етона не принес Киеву вреда. Отдавать за него хоть кого-то из своей родни, пусть даже дальней, Святослав отказался наотрез: после воскрешения Етон внушал ему даже большую неприязнь, чем до смерти, почти отвращение. Менее знатные русские роды тоже не спешили предлагать своих девиц. Все понимали, что мир между Киевом и Плеснеском не прочнее паутинки и вскоре такое родство может оказаться крайне неудобным. А Етон не отставал – при каждом удобном случае напоминал Святославу и матери его Эльге про обещание найти ему жену взамен отнятой.

– Я деву одну нашла, – заговорила княгиня – неспешно, словно дразня любопытство слушателей. – В самый раз ему в версту¹ – и наша, и не совсем, и знатная, и не слишком...

– Да что ж это за чудо? – нетерпеливо спросил князь. – Баба с дедом из снега слепили?

– Помнишь Перемила из Веленежа? У него меньшая дочь подросла, в самый раз замуж отдавать.

– Перемила? – Святослав нахмурился.

Он хорошо знал, кто это – боярин, старейшина городца Веленежа, последнего с деревской стороны перед началом земли бужан. В нем путники делали стоянку перед выходом на Горину, и там после войны появился один из первых в земле Деревской киевских погостов. Перемил сам собирал дань со своей волости и сдавал киевским сборщикам уже готовую.

– Нет, – сообразив, что ему не понравилось, Святослав качнул головой. – Этот не годится.

– Почему же? – полюбопытствовала Эльга, хотя знала ответ.

– Он тесть Свенельдича-младшего.

– И что с того?

– Выходит, Свенельдич и Етон свояками станут! А там не успеешь оглянуться, как Свенельдичи всю дань бужанскую к рукам приберут! А я этого не хочу! – Святослав глянул на мать с вызовом. – Мало того, что Лют жену Етонову забрал – ему еще и Етоновы скóты² нужны!

– Даже если Лют поможет собирать эту дань, он ведь будет делать это для тебя!

– Я не хочу, чтобы он был в родстве с Етоном! Это слишком близко... к нам. – Святослав бегло оглядел жилую избу матери, куда допускались только люди ближнего родственного круга и где он очень часто заставлял то старшего из двоих братьев Свенельдичей, то младшего, то обоих вместе.

– Но как раз потому, что Лют забрал Етонову жену, он никогда не сможет с ним... подружиться, – возразила Эльга, избегая слова «измена», хотя знала, что именно оно на уме у ее сына. – Величана между ними теперь стоит стеной неодолимой. Етон Люту этого не простит, а Лют его ненавидит, как гада ядовитого. Уж он ему ни малейшей потачки не даст. И ты вот что пойми – с этим браком Етон станет зятем нашего данника! Понимаешь? И нам ведь нужно будет ставить погосты в его землях, как у древлян...

¹ В версту – ровня, пара. (Здесь и далее – примечания автора.)

² Скóты – деньги. От названия арабской серебряной монеты (она же ногата).

– Не скоро это будет! Я хочу, чтобы Етонову дань собирали мои люди, – прямо ответил Святослав. – Твои люди сидят по погостам у древлян, имеют свою долю со сборов и корма. Женились все на тамошних девках, чад наплодили и добром обросли, как камень мхом, на месте лежат. А мои гриди и отроки зимой и летом по свету бродят – то в лодьях, то в саниах, то пешком, то на конях. Сколько разных тягот принимают – так должны же они за это кое-каких скотов раздобыть. Мы сами будем собирать дань с Волыни. Пока... пока я не решу, где нам взять добычи получше.

Эльга подавила вздох. Ей было нелегко столкнуться со взрослым сыном, но он хотя бы считал ниже своего достоинства кривить душой. Его люди были приучены брать военную добычу и собирать дань в первые годы после покорения новой земли, что было почти то же самое. И лишь через несколько лет, когда тот или иной род был уже основательно обобран и усмирен, когда были перебиты или пленены и проданы все склонные к мятежу, Святослав уступал новые владения матери – чтобы та строила погосты и размещала своих людей-посадников. Земля бужан, подчиненная только полгода назад, обещала еще немало прибытков.

– Но едва ли мы найдем для Етона жену лучше, чем Перемилова дочь, – Эльга вновь заговорила о том, с чего начинала. – Она знатного рода, но не родня нам, и отец ее не так силен, чтобы Етон мог, поссорившись с нами, от него большую помощь получить. Зато древляне порадуются, что мы одному из них такую честь воздали. Увидят: кто с нами дружит, тому честь и выгода...

– Я хочу, чтобы русы другой чести себе искали! И так сколько мужей по погостам разослать пришлось! К варягам посылаю за людьми, чтобы было кому копьё держать! Мне идти в поход, а не с кем! Ты оставь пока и думать про погосты у бужан. Мне отроки для походов нужны.

– Но сколько же ты думаешь ходить! – вырвалось у Эльги. – И без того у нас северяне, кривичи, древляне, волыняне, бужане, дреговичи!

– Радимичи! – Святослав ткнул в нее пальцем, будто напоминая о забытом.

– Радимичи?

– Они тоже будут мои данники! У меня впереди еще сорок лет славы! И запомни: когда Перун меня призовет, ни у кого на свете не будет столько владений, сколько у меня! Ни у кого на свете!

Эти речи Эльга слышала еще тогда, когда Святославу было тринадцать и он едва взошел на стол Олега и Ингвара. Она все ждала, что сын повзрослеет и одумается, но теперь уже понимала, что ждет напрасно. Святослав не собирался отступать от целей, поставленных в то время, когда он был самым молодым из князей Восточного пути³. Отроком он стремился сравняться с исполинами, на чьих сагах вырос. И делал для этого, что мог.

Но неужели он всю жизнь собирается прожить в саге? Ему третий десяток идет, пора уже очнуться и ощутить твердую землю под ногами.

В дверь негромко постучали. Сидевшая возле порога с пряжей Совка оставила веретено, отворила, выглянула, с кем-то пошептала, потом пропустила в избу Чернегу – десятского Эльгиных отроков.

– Госпожа! – Чернега поклонился Эльге, потом Святославу. – И тебе, княже. От ворот Мистишины прислали. Болва с боярами вернулся. Дань привезли с земли Етоновой. Только того... Вуефастича, говорят, подстрелили.

– Насмерть? – ахнула Эльга, а Святослав вскочил.

– Пока живой, говорят. Глазом стрелу поймал.

– Йотуна мать!

³ Восточный путь – общее название земель, лежащих на пути из Скандинавии к Черному морю и дальше. Вообще выражение «на востоке» для скандинавов тогда означало «на Руси».

Не попрощавшись, Святослав схватил свой кожух и выскочил наружу.

* * *

...В Драговиже русы объявились в Перезимник, сразу после Полукорма⁴. За день до того большаки осматривали запасы жита в овинах, считали, много ли осталось. Лето выдалось жаркое, иные делянки высушило, а рожь частично побилло градом, и урожай оказался не из лучших. Было съедено больше половины того, что ссыпали в закрома после Дожинок – значит, жито пора беречь, до нового не хватит. Большухи до зари сходили к реке, набрали воды в кринки, принесли, прикрыв новым полотном, в овины и бросили по три капли в каждую из житных ям – для освежения посевных семян.

На другое утро, как водится в день середины зимы, Городея, свекровь Обещаны, затеяла печь «сладкие» лепешки. На вкус-то они были не слаще других, но замешивались на воде, которая ночь простояла под звездами и потому несла здоровье всем: лепешками этими угощали всю родню, подкармливали скотину, а девушки носили их в баню, чтобы повезло с женихом. Обещана тайком посмеивалась над молоденькими золовками: хоть небо упади на землю, а у девок на уме женихи! Нет, сама она в своем девичестве такой не была. Она ведь ждала особенного жениха...

Обещана родилась в ту осень, когда князь Етон в последний раз объезжал с гощением Бужанскую землю. Был он уже очень стар, ходил, волоча ноги, а на лошадь садился при помощи скамьи и двух крепких отроков. Но сдаваться не собирался и обещал Воюну, иначе Воинегу, давнему своему соратнику, вернуться к свадьбе новорожденной.

– Как пройдет двенадцать лет – снова приеду и зятя тебе привезу, – говорил князь старейшине укромичей. – На свадьбе с тобой погуляем. Не бойся, что помру, – с усмешкой он трепал Воюна по плечу. – Старый корень крепок, Марене так просто меня не взять. Мне бог дедов моих три века человеческих обещал, а третий только в самом начале. Жди. Слово мое княжеское – тверже камня, крепче меча булатного.

Девочка родилась прямо перед приходом Етоновой дружины в Укром, и показывать ее чужим было еще рано. Однако Етон, получив от Воюновой жены отрез беленого льна на сорочку – обычный дар князю от всякой роженицы или молодухи, – взамен оставил дорогой перстень и обещал малую не забыть. Потому с первых дней жизни новорожденную стали звать Обещанкой. Перстень был крупный, на мужскую руку, свитый из двух нитей серебра и перевитый третьей, совсем тоненькой – золотой. Работа варяжская, никто в волости таких не носил. В самом этом перстне был залог особенной доли, которой старый князь пожелал поделиться с новорожденной девочкой. Таким перстнем только с женихом обручаться, что придет прямо из сказания... И Обещана ждала. Ведь слово княжеское – тверже камня, крепче меча булатного.

Будь Етон молодым, все бы думали, что он хочет взять ее за себя. Но князь годился девушке в прадеды, а ни сыновей, ни внуков у него не имелось. Никто не знал, чего ждать, и все свое отрочество Обещана, сидя за пряжей зимой или дергая сорняки с гряд летом, забавлялась, выдумывая разные басни о том женихе, что однажды приедет за ней.

В то время Етон замышлял о будущем своего стола кое-что, недоступное прочим умам. Но судьба обманула его, развеяла дымом расчеты, и никто о них даже не узнал.

Прошло двенадцать лет, потом тринадцать, но Етон так и не приехал. Заменявший его воевода Семирад передавал поклоны и заверения: в сию осень князь здоровьем слаб, но на другой год непременно будет, пусть Воюн ждет. Тот и ждал. Прошел еще год, и еще, Обещане исполнилось пятнадцать, а старый князь все не в силах был вступить в стремя.

⁴ Полукорм – народное название 16 января, Перезимник – 17 января, считался серединой зимы.

А на шестнадцатое лето все надежды Обещаны рухнули. Киевский князь Святослав убил старого Етона на поединке и завладел его землей. Ждать было больше нечего, и осенью Воюн сосватал дочь за Домаря, старшего сына Плетины из Драговижа. Жили они хорошо, не бранились, среди родни он пользовался уважением, несмотря на молодость, и Обещана с бодростью смотрела в будущее. Вот так и пойдет день за днем ее жизнь – в обычных заботах по хозяйству, только еще прибавятся хлопоты с детьми. И будут они с Домарем шаг за шагом подниматься по тропе своей судьбы, пока не очутятся на вершине – займут в Драговиже такое же почетное положение, какое сейчас занимает Плетина, свекор, и Домарь будет ездить на общее вече в Плеснеск, как сейчас ездит раз в год его отец...

Русы пришли по реке от Горины, со стороны княжеского Горинца. В Драговиже поднялся шум.

– Русы идут... русы... по реке... побежали... сюда идут, – порхали от двора к двору возгласы, будто искры на ветру.

По зимнему времени все были дома – молодежь, отцы и матери. Надевали кожухи, накидывали платки и шапки и торопились со дворов к реке – смотреть. Русы из Киева каждый год проезжали по Моравской дороге на запад и обратно, но заворачивать в Драговиж им раньше было незачем, и никого иного, кроме Етоновых отроков из Плеснеска, здесь не видали.

Пришельцев было много – десятка три, все верхом. Драговижичи дивились: мало кто видел разом столько лошадей. Даже в глазах рябило. Изумление от этого зрелища – всадники в кольчугах, в шлемах, с копьями в руках, топорами и мечами у пояса, с круглыми яркими щитами у седел – заслонило поначалу его тревожный смысл. Обоза при русах не было – ни саней с поклажей, ни даже заводных лошадей.

– А чего это налегке они? – полюбопытствовала Рыска, Домарева первая стрыйная сестра⁵.

– Видно, в Горинце пристали и там все лишнее оставили, – ответил ей свекор, Назорок. – А к нам заглянули только... Видно, ряд класть.

Пока русы ехали по льду и затем, спешившись, с конями в поводу поднимались по тропе к избам предградья, сквозь толпу пробрались старейшины – сам Плетина и еще несколько уважаемых большаков. Прочие, в том числе женщины, теснились поодаль, разглядывали чужаков, прислушивались.

– Чего же Воюнко не упредил нас? – бормотал Плетина. – С той стороны идут – Укрома им не миновать было. Мог бы хоть паробка прислать...

Обещана забеспокоилась: чтобы попасть сюда, русы неизбежно должны были миновать Укром, ее родной городец. Почему же отец не предупредил сватов? Не случилось ли с ним чего худого?

– Будьте живы, люди добрые! – приветствовал русов Плетина, когда те оказались на гребне берега. – Вы чьи будете? К чему пожаловали?

– Это Драговиж, да? – Какой-то из русов, что шел среди первых, показал плетью на городец.

– Драговиж, – с недоумением ответил Плетина: чему еще здесь быть-то?

– Кто у вас старший?

– Я, Плетина, Радолюбов сын, и еще со мной мужи – Имач, Мякуша и вот Жизнобуд.

– Сейчас наш боярин с вами говорить будет.

Сквозь ряды русов проехал один – на гребне берега он снова сел в седло и теперь взирал на драговижичей сверху вниз. Те жадно его разглядывали: и впрямь видно, что боярин, хоть и молодой. Шапка с шелковым верхом была оторочена бобром, из-под кожуха на лице виднелся подол кафтана, отделанный шелком с черными орлами среди красно-желтого хитрого узора.

⁵ Первая стрыйная сестра – двоюродная по отцу.

Красный плащ с цветной каймой заколот серебряной застежкой, слева видна рукоять меча в ножнах, блестящая черненным серебром. В головах не укладывалось, что в такой богатой одежде, прямо княжеской, кто-то не сидит на пиру, а разъезжает сквозь снега.

«Уж не сам ли это князь?» – мельком подумал Плетина и взгляделся в лицо всадника.

Брат, Жизнобуд, со значением подтолкнул его локтем, тоже вглядываясь в лицо под бобровой шапкой. Боярину едва пошел третий десяток – как и Святославу. Собой он был недурен: продолговатое лицо заметно сужалось книзу, рыжеватая бородка не скрывала свежего румянца на щеках. Глаза из-под широких темных бровей смотрели отстраненно, но пристально, и от взгляда их старейшинам стало неуютно. Пришелец взирал на них, как на свою добычу.

– Вы старшие здесь? – с седла спросил он.

Скорее надменно, чем почтительно, как прилично было бы тому, кто возрастом уступает вдвое. Но даже эта надменность казалась отстраненной, показной. Во внешности и речи пришельца не было ничего заморского. Он, как видно, был из полянских русов – тех потомков Кия, что приняли имя, принесенное с севера дружинами князей-завоевателей.

– Мы, – Плетина повернул голову налево и направо, будто призывая сородичей в свидетели. – А ты кто будешь? Какого отца сын?

– Я – Унерад, Вуефастов сын. По повелению князя моего, Святослава киевского, собираю дань с земли Бужанской. Слыхали, что с лета вы – Святославовы данники? Дань берем пока обычную – по кунице с дыма. Беру любой скорой – куницей, бобром, лисой, хоть веверицей, если хороша. Серебро возьму на вес...

Он оглядел женщин, не задержавшись взором ни на одном лице и лишь пытаясь по их уборам оценить богатство поселения. Но в этот обычный день ни на ком не было узорочья – не жарить же лепешки с заушницами на очелье!

– Если нет кун или скоры хорошей – скотом возьму, – добавил Унерад, вновь глянув на Плетину. – Вы ж небось не готовились... да кормите меня сегодня с людьми, – он указал концом плети себе за спину, на замерший в ожидании отряд. – Быстро управитесь – ночевать не буду, как соберете, так уйду.

– Ты про что толкуешь? – не выдержал Жизнобуд. – Прямо сейчас, что ли, вынь тебе сто куниц и положи?

– Жду до вечера. – Унерад взглянул прямо ему в лицо, и во взгляде его была холодная, как железо на морозе, равнодушная решимость. – А к вечеру не получу сполна – возьму сам, и уже все, что найду.

Для драговичей это событие было чем-то новым, но для Унерада Вуефастича сбор дани с бужан продолжался уже месяц. Он мог бы наперед рассказать весь разговор, который сейчас состоится, и его последствия, да только надоело ему все это до зубной боли.

Драговичи стояли, не зная, что подумать. Суровый, оскорбительный смысл Унерадových речей не вязался с обыденностью этого утра. Гром не гремит, рога не трубят – все как всегда. И вот поди ж ты – чужие дань требуют с вольных мужей-гориничей, разорением грозят...

– Так не водится... – начал Плетина.

– Разбежался, удалой! – одновременно буркнул Мякуша.

Из ближних рядов толпы, где сумели расслышать слова киянина, долетел ропот – пока более изумленный, чем тревожный.

– Ты откуда выскочил? – возмутился Имач. – Как с дерева слетел, а тоже – куны подавай! Сперва пусть твой князь людей нарочитых соберет, ряд им даст, их выслушает, роту принесет...

– Ряд вам князь положит, когда будет его воля, – перебил Унерад. – А мне велено дань собрать, я и соберу. Расходись, отцы, открывай укладки. В обчине протопите, пусть бабы поесть приготовят, у меня люди голодные.

– И кони, – сказал кто-то из-за его спины.

– И кони. Быстрее управитесь, быстрее разойдемся.
– Да не делается так! – Плетина начал горячиться. – Откуда нам знать, кто ты и откуда!
– Я сказал, кто я и откуда! – Унерад повысил голос. – Глуховаты, отцы?
– Да так любой шишок болотный придет и скажет...
– Покажите мне того шишка, что вздумает себя за Святослава человека выдавать без права! Я с ним сам перевожусь! А ваше дело – дань давать. Вот и давайте.
– Пока ряд не положен по закону – не будет дела...
– Да поймите вы, дуры головы! – Унерад в досаде хлопнул свернутой плетью по бедру. – В каждой луже одна и та же гудьба! Я уже язык стер вам толковать! Святослав Етона на поединке одолел, а ряд меж ними был такой, что вся земля Етонова Святославу отходит! И дани, что Етон брал, теперь Святослав берет! Етон же брал у вас куницу с дыма?

– Ну, брал. Так то наш...

– Теперь Святослав – ваш! Етон еще и в гощение ходил!⁶ В этот год гощения не будет, князю нынче недосуг, а далее поглядим. Как Святослав пожелает. Что Етону давали, то сейчас Святославу давайте. Для Етона же приготовили? Вот это и несите. Поживее, отцы, а не то мои отроки сами поищут. Мне с вами здесь до весны круги⁷ водить недосуг.

Унерад с трудом сдерживал досаду. Святослав покинул Плеснеськ во время жатвы и пустился в объезд своих владений на правом берегу Днепра: по землям бужан, лучан, волинян, далее собирался к древлянам и дреговичам. Своих доверенных людей с дружинами он рассылал по рекам, и молодые бояре состязались меж собой, кто привезет дань больше и лучше. Сам князь собирался вернуться в Киев через Припять, а Унераду досталось идти назад по южной окраине этих земель, вдоль Моравской дороги. Он и его отроки не были дома уже больше полугода. Все устали, измучились от каждодневных переездов, от споров и раздоров с упрямыми весняками⁸, не желавшими принять перемены. Но этот утомительный объезд близился к концу: впереди Горина, за ней – земля Деревская, а древляне покорены десять лет назад и свыклись со своим положением.

Обещана глядела почти из первых рядов – из-за плеча Городеи, но та была ниже ее ростом, и Обещане было все хорошо видно. Теперь, когда киянин почти кричал на Плетину, ракрасневшись от злости, Обещана вдруг уловила воспоминание, что уже какое-то время скреблось в сознании.

...В последнее свое девичье лето Обещана видела огненного змея. Ничего более жуткого она не встречала за всю жизнь: пламенный столп носился над заросшей делянкой, пожирая сухую траву и молодые, едва в человеческий рост поднявшиеся деревца. Столп огня стремительно вращался, закручивался вокруг своего нутра, будто в неутолимой ярости пытался пожрать и себя самого; в нижней части его пламя было ослепительно-желтым, как солнце, а выше делалось рыжим, и ветер трепал его, будто стоящую дыбом косу самой Марены. Огненный змей яростно шипел, не переводя дыхания, метался над окутанной серым дымом землей. Обещана с братом Хотишкой наблюдали за ним с другой стороны реки – лежа за кустами и вцепившись в мох. Окаменевшие от ужаса, они не хотели смотреть на злого духа, но боялись отвести глаза.

Через реку змей не перебрался – пометавшись и сожрав все способное гореть, ослабел, опал и втянулся в землю. Лишь серый дым висел над старой делянкой, через реку несло душным запахом гари. Тогда выгорел большой участок леса на той стороне – лето выдалось жарким.

⁶ Гощение – патриархальный вид поборов, который заключался в объезде князем земель и кормлении его с приближенными. Собственно дань – несколько другое, она накладывалась победителями на покоренных жителей чужой земли.

⁷ Круги – хороводы.

⁸ Весняки – деревенские жители; от «весь» – неукрепленное поселение, деревня.

Не день и не два Обещана содрогалась, вспоминая огненного змея и его яростное шипенье. Жуткий мир злых богов опалил ее своим дыханием – не в сказании, не в басне, а наяву, светлым летним днем. И как день было ясно – жди беды...

И вот сегодня она вспомнила его. Огненный змей. От киянина Унерада веяло гарью – не от одежды его, но от глаз. Он нес с собой искры пожара. В нем был тот пламенный столп, что шипел, метался, погруженный в дым, и бешено вращался, будто пытался в неуголимой ярости сожрать и самого себя...

– Мы тебе не холопы! – Плетина расправил плечи и положил руки на пояс. – Вы, кияне, нас еще не били – а мы на Горине-реке перед Купалиями били вас! Погоди распоряжаться...

– Взять этих! – приказал Унерад.

Плетина даже не расслышал негромкий голос киянина за собственной речью, которую Унерад и не собирался слушать. И совсем того не ожидал, когда к нему и к каждому из троих других старейшин подскочили по два отрока, заломили руки назад и мигом утянули за свои ряды. И там, пока ему сноровисто вязали руки, Плетина успел лишь пожалеть – да какого лешего они все в Драговиже были так беспечны! Ждали русов, посмеиваясь, будто русалочий обход полей по весне. Что же Воюнок не упредил! Могли бы людей из весей собрать, вооружиться, домочадцев, скот и припасы спрятать в городец... Вышли волкам навстречу с голыми руками... а те путы мочальные наготове держали.

– Соберем до ночи все положенное – отпустим ваших отцов! – кричал Унерад, перекрывая вопли возмущенных и испуганных драговижичей. – А не соберем – головы им срубим. Расходись! Расходись по домам! Готовьте дань – мы сами по дворам пройдем. Не толпись! Живее! По домам!

Топоры и копья в руках его людей делали эту речь весьма убедительной.

– А ну пусти отца моего! – Домарь, красный от возмущения, выбился из толпы и бросился на русский строй, как на стеночном бою, пытаясь пробить плечом с разбегу.

Но красные щиты с белым соколом сомкнулись перед ним и сильным толчком отбросили назад. Все это отроки Вуефастича проделывали уже много, много раз.

– А ну, парни! – С трудом удержавшись на ногах, Домарь оглянулся к родичам и махнул рукой. – Давай! Что стоите, пока отцов наших бесчестят!

Толпа дрогнула. Драговижские отроки и молодцы уважали Домаря и слушались: в ответ на призыв человек десять устремилось вперед, даже не думая, что из этого выйдет.

И тут же, едва сделав шагов пять, резко подались назад – перед глазами сверкнули жала выставленных копий, вознеслись топоры. Драговижские молодцы качнулись назад, разведя пустые руки.

– Топоры! – крикнул Домарь и первым пустился бегом к себе, в свою новую избу на краю предградья.

Толпа рассыпалась: одни побежали в городец, другие – по улице предградья. Среди суеты и криков Обещана со всех ног пустилась вслед за мужем. В смятении она не понимала, что происходит и что будет дальше, но Домарь знал, что делать, и она бездумно следовала за ним.

Однако догнать его не сумела. Когда она, запыхавшись и на ходу поправляя сложно намотанную намотку с бахромой на лбу и длинными концами за спиной – все же пышный убор молодухи не очень удобен для бега, – вбежала в избу, Домарь уже рылся в углу, где стояла его охотничья рогатина и висел на стене лук. Лук был не готов к бою, и Домарь, поставив рогатину около двери, выбрасывал все из короба, отыскивая кошель со свернутыми тетивами. Когда-то он объяснял ей: тетивы, что жилые, что из льняной нити, нужно хранить в избе, где сухо и тепло, иначе отсыреют, будут тянуться, гнить и пропадут. Ее отец тоже делал так, но Обещана слушала мужа с чувством, будто он открывает ей истины, которыми владеет лишь он один. Для нее в эту осень вся жизнь началась сначала.

На шум шагов жены Домарь лишь слегка обернулся и вернулся к своему делу.

– Где мои тетивы? – Глаза у него были такие, будто он ее не узнал. – Ты никуда их не девала?

– Да на что мне? – Обещана всплеснула руками. – Что ты хочешь делать?

– Найди! – Домарь вытряхнул весь короб прямо на пол, а сам снял со стены лук.

Обещана торопливо присела и стала искать кожаный кошель. Но едва протянула руки, как у двери послышался шум шагов и еще какие-то непривычные звуки – постукивание, позвякивание...

Она вскочила – что же засов не накинула-то? Дверь открылась, и в нее просунулся сперва щит, потом голова в шлеме. И вот они уже стояли в избе – четверо в шлемах, все на одно лицо. Боярина в красном плаще с ними не было.

– Показывай, что есть, – велел один Домарю из-под кольчужной сетки, закрывавшей всю нижнюю часть лица, так что на виду оставались одни глаза. – А ковыряло свое поставь.

– Напорешься еще с испугу, а мы отвечаю за тебя, – добавил другой, в шлеме с наносником, – юный, лет семнадцати, но самый рослый из всех.

По-славянски они говорили совершенно свободно, как на родном языке, лишь выговор немного отличался от волынского. Это удивляло Обещану, считавшую, что все русы – варяги из заморья.

Прижавшись к стене, Домарь быстро переводил взгляд с одного лица на другое, но видел только железо полумасок и бороды: русую, рыжеватую. Стоявший ближе двинул топором, показывая на рогатину в его руке. Домарь медленно прислонил копьё к стене.

– Укладку открывай, хозяйка, – велел первый Обещане.

Она вопросительно глянула на мужа, но Домарь не отрывал глаз от русов. Тогда она придвинулась к скрыне и дрожащими руками подняла крышку.

Русин с кольчугой на лице шагнул ближе, сорвал и отбросил холстину, которой было прикрыто содержимое скрыни. Обещана задрожала: казалось, в самое ее нутро лезут эти чужие руки. Там ее приданое – все то, что родители отправили к Плетине на другой день после того, как отпустили из дому саму дочь. Для чего? Чтобы русин рылся в ее нажитках, будто в сору, выбирая, что поценнее?

– Хорошо живешь! – Рус выдернул из-под свертков тканины связку кунных шкурок – десяток на ивовом пруте. – Тут на десять лет хватит. Чего ж сразу за копьё хвататься – тебе ж есть чем заплатить!

– Мы вам не должны! – сквозь зубы ответил Домарь. – Сперва надо ряд положить...

– Вот мой ряд! – вразумительно, как дитяте, ответил русин и показал рукоять меча в ножнах. – И куда мы приходим, там уже все нам должны. Чем крепче уразумеешь – тем целее будешь. Пошли, дренги! – бросил он своим и подался к двери, держа в руке десяток кунниц.

– Куда все-то понес! – вскрикнула изумленная такой наглостью Обещана. – Одну же вам...

– Соберем что нужно – лишнее вернем, – бросил русин на ходу.

Но Обещана поверила ему не больше, чем он сам верил в эти свои слова.

– А ну отдай!

Обещане будто огнем полыхнуло в лицо – так она возмутилась. Ее кунницы, отцом ей данные на будущее приращение хозяйства, какой-то выползок подхватил, будто пук сена, и уносит! Без ряда, без закона! Она метнулась следом и вцепилась в своих кунниц, даже почти вырвала – русин не ждал нападения от молодухи.

– Ого! – Одной рукой хватая шкурки, другой он отпихнул ее; его спутники засмеялись. – Бойкая кунница какая!

– Отдай, не твое! Это приданое мое, это не на дань!

– Приданое? – Русин прищурился, и Обещана впервые увидела его глаза между верхней кромкой шлема и кольчужной завеской. Немного опухшие, покрасневшие от недосыпа, эти

усталые глаза цвета железа впервые взглянули на нее, как на живое существо. – Ты ж только год как замуж вышла, да? – Он оценил ее убор с красной бахромой. – А «княжое» платили со свадьбы?

– Кому платить было? – Обещана попятилась.

«Княжое право» она приготовила самым первым – едва в двенадцать лет плахту надела. Думала, что приведется самому Етону дар подносить, старалась, как для бога. «Княжое право» выплачивают с каждой свадьбы и с рождения каждого дитяти – отрезом беленого льна на рубаху, и чем лучше ткань, тем больше чести.

– «Княжое право» своему князю платят. – Домарь подошел к ним, стараясь заслонить собой жену. – А наш князь – Етон. Как придет гостить, так и получит. А вы берите вашу дань, а на иное пасть не разевайте.

– Богов побойтесь! – вставила негодующая Обещана. – Куниц отдай. Это мне отец в приданое дал. Да ты знаешь, кто мой отец? Обидите нас – он на вас гнев богов призовет, вас Перун треснет, мокрое место останется!

– Это кто ж такой? – спросил русин с бармицей; похоже, он из этих четверых был старшим.

– Мой отец – Воинег из Укрома, старший жрец всех укромичей и всех гориничей, потому как наш род на Горине из бужан старший!

Русины переглянулись.

– Это здешнего боярина сын, – негромко напомнил молодой и слегка кивнул на Домаря.

Пришельцы обменялись взглядами, потом тот, что стоял к Обещане ближе всех, переложил в другую руку топор, схватил ее за плечо и толкнул к двери, так что она оказалась за спинами русинов.

Обещана вскрикнула; Домарь метнулся к ней, но перед лицом его оказалось лезвие топора.

– Зарублю! – хриплым голосом пообещал тот, что ранее не произнес ни слова.

По выговору его было слышно: вот это варяг, плохо владеющий славянским языком и едва уразумевший ход беседы. Но это слово он произнес с той легкостью, какую дает прочная привычка.

И по глазам его, полным равнодушной решимости, было видно: угроза не пустая.

– Молодайка со стариками посидит, пока все дело не сладим, – сказал тот, что под бармицей. – А ты будь умником. Полезешь в драку – сиротой останешься.

– И то ненадолго! – хмыкнул молодой верзила.

Обещана молчала и не шевелилась. Вдруг оказавшись в окружении плеч и спин, обтянутых железной чешуей, она будто застыла: ее волю сковало давление чуждой, холодной силы. Было чувство, что она – птенец меж камней, вот чуть сдвинутся – и раздавят. И что им ни скажи – не все из них даже понимают человеческую речь. Голова шла кругом от потрясения. Она выросла в почете, которым был окружен ее род, в уважении к законам и обычаям – а теперь все их отбросили, будто сор смели. С ней, Воюновой дочерью, обращались, как с холопкой безродной! Но она молчала: этим людям и правда ничего не стоило сгубить и ее, и Домушку, и любого, кто встанет на пути. Ни имени, ни рода не спросят.

Русин с бармицей глянул на рогатину, прислоненную к стене, на руку Домаря, которая было дернулась в том же направлении. Видно, русин прикидывал, как бы завладеть оружием, но не решился снова вступать в жилье, откуда забрали и куны, и хозяйку.

– Сиди тихо, добра тебе желаю, – почти с сочувствием посоветовал он Домарю. – Много мы вас таких видали, бойких. Если что, жалеть не буду. Жизнь любой дани дороже. Добра наживешь, а жизнь теряют в один вздох и навсегда. Слушай меня, я знаю.

Хлопнула дверь за спиной Обещаны.

Вдоль улицы предградья ее повели в городец. Везде между избами ходили русины с разной поклажей, перед клетями сутились женщины. В городце перед избой Плетины стояли двое саней, в них лежали две медвежины, свертки шерстяной тканины, головы воска, бочонки меда, вороха лисьих, беличьих, бобровых шкур. Возле саней стоял Богуша, хозяин одной из лошадей, и отчаянно доказывал что-то боярину Унераду; тот молчал и, судя по лицу, не слушал. Потом сделал знак – и двое отроков за плечи вытолкали Богушу прочь.

Молодец с бармицей наклонился к Унераду и что-то коротко сказал, тот кивнул в ответ. Обещану повели в избу.

Знакомая изба Плетины, свекра родного, казалась новой и чужой, хотя еще стояла у печи забытая квашня, где Городея с утра поставила опару на «сладкие» лепешки. Вот тебе вышла и сладость!

Обещану трясло. «Тесто перестоит...» – мельком думала она, поглядывая то на опару, то на растерянное лицо Городеи. «Что с нами будет?» – билось в мыслях Обещаны, но рот словно заперли на невидимый замок. По разговорам Плетины с братьями, сидевшими здесь же под стражей, она понимала: они, старшие, опора племени укромичей, знают не больше нее. Пришла такая беда, от какой не спасают родовые поконы.

День тянулся без конца. Приходили русы, что-то приносили, что-то докладывали Унераду. Тот иногда заходил, садился к столу, хлебал из горшка и грыз вареную курицу – приказал Городею приготовить. Часто выходил, осматривал добытое, иногда с кем-то спорил. И чем дальше, тем больше изумление и возмущение сменялись в душе Обещаны тоской и недоумением. Это не сон. И никто не приходит на помощь. Пусть даже к ночи русы уйдут, как обещали – они, драговижичи, останутся ограбленными, униженными, оплеванными... Где их добрая слава меж бужан?

Но тут пришла еще одна мысль, от которой в груди лизнуло холодом. А что, если то же самое по всей Горине творится? По всей земле Бужанской?

Свой князь не то жив, не то мертв... Чужой князь налетел, как змей огненный... грабит, будто обры... Изба, такая всегда опрятная, была завалена пожитками, своими и чужими, пол покрылся мокрыми следами, рассыпанной соломой и даже комками навоза, что приносили на ногах. После полудня русы привели Миляту – отрока пятнадцати лет, Рыкова сына.

– А ты чего здесь? – удивился Плетина: Рык не такого хорошего рода, чтобы его отпрыска брать в таль⁹.

– Так за дань меня! – Парень шмыгнул носом, с трудом удерживая слезы. – Отец скоро-то попрятал, какая была. Это мать его подбила: увези да увези! А то придут, говорила, вынесут все... Он и увез все на заимку в лес. А теперь эти говорят: нет ничего – паробка возьмем в челядь. Это меня-то! В челядь!

– Да как – в челядь? С ваших куна полагается, как со всех, а человек не куну стоит!

– Они сказали, на месте взятый отрок стоит гривну. За двадцать дворов, сказали, возьмем паробка, а вы меж собой сами как хотите разочтетесь.

За оконцами уже темнело, когда русы наконец собрались восвояси. Им еще предстоял путь до Горинца – за полночь доедут.

– Ты, мать, собери молодухе что-нибудь, – велел Городею Унерад. – Она с нами.

– Куда – с вами? – не поверил Плетина. – Вы же собрали... собрали все нужное?

– Собрали кое-что, но волость еще не всю обошли. Пока молодуха с нами, Воюн укровский смирным будет и других уймет. А пойдем за Горину – ее вам оставим.

– Да есть ли совесть у вас! – Плетина опешил от этого нового бесчестья. – Молодую, первый год замужем, в чужие люди... сором какой и ей, и роду всему!

⁹ Таль – заложники. Взять в тальбу – в залог.

– Не тронет ее никто... если вы дров не наломаете. Ты пойми, дурья голова. – Унерад шагнул к Плетине и сделал движение, будто хотел взять его за насов на груди, но передумал. – Я же вам как лучше хочу – чтобы все тихо, без драки, без крови... Кровавый ручей только пусти – он рекой обернется и всех смоеет. Твоя невестка у нас – ты за своими поспешишь, чтобы сидели смирно. И разойдемся без драк – и вам хорошо, и нам.

Вполголоса причитая, Городея забежала меж укладок, собрала в короб пару сорочек, рушник, гребень, чулки, съестного. Обещана провела рукой по убору на голове, по кожуху на груди, безотчетно оправила пояс – словно хотела убедиться, что она существует во плоти, что ей не мерещится это безумие.

Вот ее повели наружу. Во дворе русины седлали отдохнувших и покормленных коней. Теперь у них появился обоз: четверо саней с разнообразной поклажей, в том числе свиная туша и две овцы со связанными ногами. За воротами толпились драговижичи, наблюдавшие, как увозят их добро. Обещана шла между русами, опустив глаза, с таким чувством, будто ее тут на позор водят. Как будто она уже заодно с чужаками. Нечто невидимое, но осязаемое провело такую глубокую борозду между нею и драговижичами – соседями, мужниной родней, – что она казалась себе мертвой среди живых. Однако даже когда ее отпустят, это не смоеет с нее срама пребывания в чужих руках. Бабы будут коситься... а то и муж откажется, скажет, невесть под кем побывала... От острой обиды на глазах горели слезы. Обещана жмурилась, стараясь их удержать, и едва видела, куда идет. Хотелось всему свету белому закричать о своей обиде, но страшно было оглашать позор своего рода.

Почти первым, кого она увидела за воротами, был Домарь. Он стоял впереди ватаги парней и молодцев и ждал. Увидев жену, двинулся было к ней, но два копьа преградили ему дорогу.

– Она с нами, – бросил Унерад. – Дня через три забереешь в Горинце.

– А ну оставь молодуху мою! – Домарь даже не вслушивался, понимая одно: у него уводят жену, покрывая позором на всю жизнь. – Отпусти, сказал!

– Люди, да вы поглядите! – завопила Любохна, мать Миляты – та, что подучила мужа спрятать свою охотничью добычу. – Детей наших уводят, женок уводят – а вы смотрите! Сыночек мой, дитячко мое ненаглядное, да куда же тебя ведут-то злыдни эти!

Толпа качнулась ближе. Домарь бросился на русов, норовя прорваться к Обещане, но его снова оттолкнули. Любохна вцепилась в Миляту и попыталась вытащить из строя; русы тянули парня в одну сторону, бабу – в другую, но она села на землю, не разжимая рук и непрерывно вопя. Завопил и сам Миляй, опасаясь, что его разорвут.

Обещана не сводила глаз с Домаря, но не успела увидеть, откуда в руке его взялся топор.

– Бей их! – во всю мочь закричал он.

Молодец не сидел сложа руки весь этот день, после того как русы пленили его отца и жену. Видя, как русы дерутся с Любохной, а Домарь пытается пробиться к жене, мужчины и парни, загодя подготовленные своим молодым вожаком, всей толпой устремились на чужаков.

– Щиты! – заорал Унерад, хватаясь за висящий на седле шлем.

Топоры громыхнули о крашеное дерево щитов. Драговижичи напирали густой толпой, но только первые ряды могли пустить в ход оружие. Но и этого было довольно, чтобы перейти черту. На снег брызнула кровь. Обещана взвизгнула – почти под ноги ей упал Рык; шапка слетела, на лысине ярко алела кровь.

Она присела, прячась за саями и продолжая визжать. Вокруг гремело сражение: стук топоров по щитам, хриплые крики, брань. Сперва все это навалилось почти ей на голову, и она сжалась в комок, ожидая, что вот-вот ей конец придет. Будто вдруг злые игрецы подхватили да забросили в самое сердце грозовой тучи.

Но как-то очень быстро вокруг стало свободнее. Обещана подняла голову и тут же зажмурилась: перед ней лежало уже три тела. Уступая числом, русы были гораздо лучше вооружены, защищены и более опытны; отразив первый натиск толпы, они погнали драговижичей прочь.

Не войско, а вооруженная толпа, те рассыпались, как только их строй был прорван, и дальше каждый был за себя: кто яростно дрался, кто искал спасения. На истоптанном снегу позади толпы остались обильные следы крови, оброненные топоры и шапки. Были и тела. Кричали и стонали раненые. Мелькали кольчужные спины и затылки шлемов: русы продолжали бой.

Опомнившись, Обещана метнулась в сторону – бежать, пока целая! Но тут же перед ней вырос тот варяг, который знал по-славянски только слово «зарублю». Зверски выпучив глаза, он раскинул руки и схватил ее; Обещана отбивалась, но варяг закинул ее к себе на плечо, будто она ничего не весила, и бегом устремился к своей лошади. Бросил молодуху перед седлом, сам вскочил на коня и, одной рукой придерживая Обещану, подобрал поводья. Она перестала биться, боясь упасть, и лишь пыталась уцепиться за что-нибудь; а лошадь уже мчалась вниз по тропе, к реке. Вокруг мелькали люди и кони, в лицо летел снег из-под копыт, еще доносился шум схватки, но ничего видеть Обещана, зажмурившись от страха, не могла.

У реки варяг придержал коня. Русы вновь собирались в отряд, возвращаясь после схватки. Тяжело дышащие, они обменивались восклицаниями, бранились, кто-то кому-то перевязывал рану. Часть их речей Обещана понимала, часть – нет: говорили по-варяжски.

Ноздрей коснулся запах гари. Извернувшись, Обещана бросила взгляд на городец: оттуда густо валил дым, поднимаясь над частоколом. Долетали крики. Да что же это творится? Рушится весь белый свет, небо падает на землю!

Пошел снег – будто и впрямь на небе тоже что-то прохудилося. Русы подвели последние, четвертые сани с поклажей.

– Ну все, теперь будут тушить, не полезут, пес твою мать! – услышала Обещана злой голос Унерада. Шелковую шапку на бобре он успел сменить на шлем, из-под которого виднелись войлочные края подшлемника. – Трогай!

Никто на них не нападал. Драговижичей отогнали и заставили тушить пожар в избах городца – те отстали от русов. Обещана, больше не в силах висеть поперек конской спины, стала сползать – да хоть растопчите меня!

– Молодку на сани! – крикнул кто-то.

Чьи-то руки перехватили ее, пронесли несколько шагов и посадили на мешки. Обещана подобрала ноги, приподнялась, отодвигая от глаз сползшую намитку. Огляделась, переводя дыхание.

Сани ехали уже по льду. Позади высился на мысу Драговиж, над ним клубился дым. Русы верхом окружали сани. На соседних санях Обещана увидела два тела в кольчугах, но не сразу сообразила, что это – их убитые.

– Чтоб вас Мара в ступе прокатила, тролль твою в Хель! – выбранился Унерад, оглядываясь на городец. – Двое «холодных» у меня за ваших куниц клятых! Двое, Стенар! Вот опять как в тот раз!

И вдруг, на глазах у Обещаны, Унерад резко дернулся назад и завалился с седла. Стрела, пущенная из городца невидимой, но твердой мстительной рукой, ударила его прямо в лицо...

* * *

Поговорив с прибывшими боярами, Святослав велел им отправить людей в старые Олеговы дружинные дома, а самих повел к матери. Поэтому Эльге не пришлось долго мучиться от любопытства, с чем они приехали и что там вышло с бужанской данью: уже скоро княгиня, одетая в зеленое греческое платье с золотыми цветами, входила в свою гридницу, где ее ждали гости.

Челядь сновала между погребями и поварней. Эльга, пройдя к своему знаменитому престолу белого мрамора – троносу, привезенному из Царьграда, – взяла у кравчего окованный серебром рог. Прибывшие стояли перед лавками, дожидаясь, когда хозяйка пригласит их сесть.

Перед вступлением в город бояре привели себя в порядок, надели чистые сорочки и дорогие кафтаны греческого самита. Из оружия при них были только рейнские мечи-корляги на плечевой перевязи, их рукояти и перекрестья украшали золотая, серебряная, медная всечка; на узких кожаных поясах блестели серебряные бляшки хазарской работы. Унерад, самый молодой и самый рослый из четверых, выглядел исхудавшим, но румянец уже проступил на его щеках над низко растущей рыжеватой бородкой. Темно-рыжие волосы над высоким лбом у него обычно стояли дыбом, зрительно делая вытянутое лицо еще длиннее, но сейчас их прижимала опрятная полотняная повязка, проходящая через лоб наискось и прикрывавшая правый глаз. Тем не менее он улыбался княгине.

Эльга, в роскошном греческом платье, с белым убрусом на голове, с ожерельем из смарагдов и жемчужин, скрепленных золотыми петельками, с золотыми греческими же подвесками на очелье, была как солнце, к которому они наконец вернулись, пройдя темные леса и сам подземный мир. Солнце, готовое вознаградить их за все испытания – лаской, честью и славой. Улыбающееся ее лицо будто испускало лучи – нигде более между Царьградом и Румом не найти никого, подобного ей.

– Да будьте благословенны в Киеве, дети мои, храбрые мужи! – Эльга искренне улыбнулась Болве, Моляте, Бергтуру и Унераду. – Рада видеть вас в доме моем, живых и... – она невольно метнула взгляд на Унерада, – сохраненных богами для родичей и князей ваших.

Сколько раз за минувшие двадцать лет она стояла перед своим престолом – сначала в старой княжьей гриднице на Щекавице, потом здесь, на Святой горе, где поставила себе новый двор, – встречая вернувшихся вождей русской дружины. Они возвращались с войн, из торговых и посольских поездок, с походов по дань. Был ли хоть раз, чтобы вернулись все, целыми и невредимыми? Подавая рог живым, она всегда отпивала из него и во славу павших. И с годами все яснее ощущала их молчаливую рать у себя за спиной. Ингвара, своего мужа, Хельги Красного, Эймунда и Олейва – своих братьев, Свенельда, который в ранние годы был ей кем-то вроде свекра. Бояр и воевод, что сложили головы на путях половины мира, от далекой жаркой Пафлагонии до холодных северных лесов. С годами их становилось больше. Но и эти, живые, что стояли перед ней, приносили ей победу, добычу и славу из все более дальних и дальних краев. Рог в ее руках был полон ратной славы руси – к ней они приобщались и ее они пополняли.

Все четверо подошли к ней: сперва Болва, затем Унерад, Молята, а после и Бергтур – по старшинству не лет, но знатности и положения. Эльга отпивала из рога, передавала боярину, потом целовала гостя. Лицо ее выражало самую живую радость, и Унерад опустил взгляд, скрывая влажный блеск в единственном глазу. После того что он перенес, ласковый привет княгини в этой гриднице, где стоял трон белоглазого мрамора, а на стенах висело оружие русской дружины, трогало за сердце по-особому. Никакой на свете мед не мог быть слаще того, что золотился в окованном серебром роге в ее белых руках, украшенных дорогими перстнями.

С боярами пришли только их телохранители и оружничие – те уселись за дальний конец стола, ближе к двери. Взойдя на свой трон, Эльга сразу заметила в конце палаты молодую женщину – совсем юную, вчерашнюю деву, но на повой ее был повязан простой серый платок. Это означало, что она вдова – иначе головной убор столь молодой жены должен быть пышнее и красивее. Белая свита была из хорошей орницы, и в рядах дружины сборщиков женщина смотрелась как нивяница среди корлягов¹⁰. Это было неспроста, но всему свое время.

Четыре дружины под общим началом Болвы пришли в Киев последними из всех сборщиков: остальных, тех, что обходили расположенные севернее края лучан, еще раньше привел домой сам Святослав. Болва со товарищи привез более свежие новости о земле Бужанской, и Эльге о многом хотелось их расспросить.

¹⁰ Корляг – дорогой меч рейнского производства, по-современному «каролинг».

– Угощайтесь, – сдерживая любопытство, княгиня указала на стол, где челядинки выставили перед гостями соленую рыбу, хлеб, гороховую похлебку с салом, приготовленную к обеду ее собственным оружникам – то, что можно было подать без задержки. – Я за вашими ближниками послала, пока подойдут, вы поешьте. Потом поговорим.

Начали подходить люди, дружинные бояре и киевские старейшины. Кланяясь княгине, они здоровались с приехавшими и садились напротив, ожидая, когда начнут излагать новости. Вдруг почти все, кроме князя и его матери, встали – вошел Мистина Свенельдич, старший киевский воевода. Это звание он сумел сохранить за собой, даже когда Святослав возмужал: из приближенных молодого князя немало нашлось бы желающих его получить, но всем им приходилось много времени проводить в походах, вдали от Киева, а отстать от князя в делах славы и добычи никто не хотел. Мистина подошел обнять четверых бояр, похлопал по плечу Унерада, что-то сказал ему, улыбаясь. В сорок четыре года Мистина никому в Киеве не уступил бы как силой, так и статью; богато отделанный красно-синий кафтан, меч-корляг с дорогим золоченым набором, пояс в серебре, золотые витые обручья на обеих руках еще усиливали впечатление внушительности от его высокого роста и мощного сложения. Лицо его от возраста несколько огрубело, но стоило ему улыбнуться, задор и вызов в глубоко посаженных глазах, складки возле рта наполняли черты солнечным сиянием. С молодых лет он не утратил способности привлекать к себе всякого, а лишь усовершенствовал ее зрелым рассудком и богатым опытом. Сел он у верхнего края стола, с правой стороны, где располагались люди княгини, ближе всех к ней. Его двое молодых телохранителей устроились среди прочих оружников у нижнего края стола, обменявшись кое с кем из прибывших дружеским тычком.

Отроков за их концом стола угощали тем же, чем и бояр, – разложили хлеб, налили в большие миски похлебки, выложили ложки. Молодцы не заставили себя упрашивать, но незнакомая молодая вдова, как заметила Эльга, ничего не ела. Примостившись на самом конце скамьи, она сжалась, явно чувствуя себя нехорошо.

– Что за женщину вы привезли? – на северном языке обратилась Эльга к Болве, что сидел к ней ближе всех за левым, гостевым столом.

– Таль, – коротко ответил он. – И в какой-то мере выкуп за Унерадов глаз, – он слегка усмехнулся. – Это длинная сага, госпожа моя. Дозволь нам поест, чтобы не излагать такую занимательную повесть с набитым ртом.

– Она хорошего рода?

– Весьма. Мы так поняли, лучшего на всей Горине. Не смотри, что она так худо одета – ее отец старший жрец в тех местах.

Легким знаком Эльга подозвала Малушу и кивнула ей на незнакомку. Малуша взяла со стола ломоть хлеба, положила на него кусок окорока с блюда, стоявшего перед боярами, прихватила два печеных яйца и направилась к госте.

– Княгиня просит откусать, – юная ключница поклонилась, подавая угощение. – Где нам хлеб, там и вам хлеб.

Женщина испуганно взглянула на Эльгу, и та располагаясь ей улыбнулась, будто была рада госте. Еще сильнее этим смущенная, та однако же не посмела послушаться такого ясного приказа и взяла хлеб. Поклонилась в благодарность, осторожно откусила. И замерла, держа кусочек на языке. Это простое действие, которое каждый проделывает столько раз в день, внесло в судьбу Обещаны решительный перелом. Поев хлеба Ольги киевской, она приобщалась к ее дому. Здесь был дом руси, увезшей ее с Горины, самое сердце Киева, очаг хозяйки земли Русской. Проглотив этот кусочек, она, Обещана, порвет последнюю связь с собственным домом.

– Ешь, не бойся, – шепнула ей Малуша, слышавшая слово «таль». – Тебе худого не сделают. И в тальбе люди живут.

Несмотря на юность, она уже перевидала десятки взятых в тальбу – родовитых старейшин, дев и отроков, малых детей. Они жили на княжеских дворах и у бояр – порой недолго, а порой годами. Девы выходили замуж, отроки делались воеводами и, бывало, достигали весьма высокого положения. Иные и умирали в тальбе, ложились в чужую землю, одетые чужими руками, без материнской слезы над могилой. Но и так тоже можно было жить. Малуша, утратившая собственный род в пятилетнем возрасте, хорошо это знала.

Гостья взглянула на нее. По возрасту их разделял всего год-другой – будь они знакомы раньше, то зимой сидели бы на одних павечерницах и собирались бы весной в один круг «ладу петь». Даже роста они были почти одного. Однако судьба сделала их очень разными. Малуша, еще худая по-отрочески, была одета в варяжское платье, крашенное в серовато-зеленый цвет, с короткой низкой желтых стеклянных бус, с маленькими серебряными кольцами на красном очелье, с длинной и толстой светло-русой косой. Выглядела она зрелой и уверенной в этой княжеской гряднице среди бояр и отроков, будто здесь было ей самое место. Обещана, всего на два года ее старше, но уже сложившаяся женщина, лишь немного исхудавшая от всех пережитых испытаний, была одета в белый наверхник и черную дергу¹¹, будто старухи, к которым ее приравняла смерть мужа. Вдовство же не позволяло ей носить украшений. И она себя чувствовала в этом чужом месте, среди чужих людей, хуже, чем в ночном лесу, где вокруг завывают волки.

Глядя на эту нарядную деву, что принесла ей еды, Обещана терялась, не зная, как отвечать. Кто это? Дочь княгини? Это ей казалось вполне вероятным. Однако едва ли княгиня послала бы к ней собственную дочь, за что такая честь?

– Я – Малуша, ключница младшая, – шепнула дева, видя ее недоуменный взгляд, и слегка хлопнула себя по боку, где на поясе ее висели на ремешке несколько железных ключей. – А ты кто?

– Обещана... Воюнова дочь... из Укрома.

– Это где?

– На Горине. Наш род там самый лучший... в доброй славе.

– Ясен день. Иначе бы тебя сюда не привезли.

Малуша хотела еще что-то спросить, но взгляд Обещаны метнулся от нее куда-то к столам. Малуша обернулась: там Унерад встал на ноги и повернулся к двери. Вошли двое. Первым – рослый, полный воевода в дорогом кафтане в греческих орлах, растянутом на выпирающем животе, с длинной седовато-рыжей бородой, которая сама по себе внушала почтение. За ним семенила женщина, тоже довольно полная и одетая в столь же богатую царьградскую далматику, но намного ниже ростом. Едва поклонившись княгине, она устремилась к Унераду; круглое, щекастое лицо ее ходило ходуном от сдерживаемого плача.

– Это его родители, – пояснила Малуша. – Вуефаст и Улыба Унерадовна. Ну, будет теперь крику...

Разговор о том, что и сколько собрали, прервался, пришлось сразу перейти к рассказу о том, как Унерад лишился глаза. Видя, что речь зашла о ней, Обещана снова сжалась и положила на стол хлеб и мясо, успев откусить всего-то раза два. А смотрели на нее часто: она была живым подтверждением правдивости рассказа.

Если бы она подняла глаза, то увидела бы, что сама княгиня посматривает на нее скорее с сочувствием, чем с осуждением. Эльга сама была вдовой, и, хотя она прожила с мужем четырнадцать лет, ей нетрудно было представить, каково потерять его в первую же зиму.

А вот кого злосчастья молодой вдовы занимали мало, так это Святослава. Он нарочно привел бояр прямо к матери, а не к себе, и рассказ сборщиков оправдал его надежды.

¹¹ Дерга – самый архаичный вид набедренной одежды: длинная полоса шерстяной ткани, которая обматывалась вокруг талии и закреплялась поясом.

– А ты говоришь – погосты! Посадники! – воскликнул он, показывая Эльге на Унерада. – Какие там погосты, у волянян! Они на сотенную дружину с топорами кидаются, лучших моих людей калечат! Был бы я на твоём месте, Радята, – у всех мужиков тамошних правый глаз бы вышиб за твой. Чтоб знали в другой раз, как княжким людям в спину стрелять.

– Ничего дивного, что эти люди воспротивились, – сказала княгиня. – Мы ведь говорили об этом с тобой и дружиной. Ведь не в первый раз, есть опытные люди! Этот год нужно было пропустить. Собрать в Плеснеске общее вече. Чтобы Етон сам перед всеми лучшими мужами подтвердил, что отныне земля Бужанская платит дань Киеву. Тогда бы и обсудили, сколько платить, чем и когда. Чтобы все бужане увидели тебя и твоих бояр. Принесли тебе клятвы покорности. И тогда без возмущения отдали бы то, о чем было уговорено.

– Но с них спрашивали только то, что они должны были Етону! – ответил Святослав, едва дождавшись, когда мать договорит. – Только то, что они платили Плеснеску уже сто лет! А тому князю или другому – не их собачье дело, за это право я с Етоном сам разобрался!

– Откуда им было об этом знать? Ведь старейшин Драговижа летом в Плеснеске не было.

– Им сказали! – Святослав кивнул на Болву и Унерада.

– Откуда им было знать, что это твои бояре, а не какие-нибудь лесные викинги, что пришли их грабить, твоим именем прикрываясь.

– Им не надо было ничего знать! – жестко ответил Святослав. – Им надо было только отдать приготовленное, и все! Я не собираюсь терять дань даже за один год! Ты будто не знаешь, чего стоит содержать дружину! Я не намерен всю жизнь сидеть дома, и мне пригодится каждый хвост!

– Если бы ты все сделал по закону, этого сражения не было бы. Ничего этого не было бы, – Эльга выразительно кивнула на Унерада, имея в виду, что он сохранил бы глаз. – А ведь могло выйти еще хуже. У вас могло быть больше убитых. Теперь бужане весь год будут рассказывать друг другу о беззакониях, творимых русью. Да преувеличат все в десять раз. И к следующей зиме наших людей там встретит войско.

– Етон не посмеет собрать против меня войско. А если посмеет, то это будет первая и последняя его война.

– К чему воевать на одной и той же земле каждый год заново? – воскликнула Эльга. При всем ее терпении упрямство сына выводило ее из себя. – Дани от этого больше не становится. У тебя и так есть законные права на бужанскую землю. Это уже наши люди! Тебе не нужно применять к бужанам силу, – увещевала Эльга, отгоняя мысль, что именно это ему и не нравится. – Нужно только положить ряд и обращаться с ними по закону, как со своими. Если все время творить им насилия, они никогда не сделаются частью Русской земли.

– Они не наши люди. Они – наши рабы! – гневно воскликнул Святослав. – Я выбью из них привычку своему законному князю противиться. Им еще мало досталось – надо было весь этот чертов городец спалить и всех, кто годен, в челядь взять. Пусть у древлян спросят, каково им пришлось!

– Сейчас ты продашь челядь и получишь хорошие скоты, но на другой год там будет некого обкладывать данью. И на следующий, и еще десять лет!

– К чему терять своих людей на уже завоеванной земле! – основательно заметил Мистина. – Ты же сам говоришь: незавоеванных на свете куда больше! Прошлого лето ты потратил на бужан, но и грядущее, мне так мнится, придется идти опять же к ним.

– А мы ведь так и не сговорились с Константином, – с досадой добавила Эльга. – Греки так ничего и не пообещали по поводу каганата. Мы еще не знаем, что нам ответит Отто. Вы ничего там, у бужан, не слышали о нашем посольстве? – обратилась она к Болве. – Никаких слухов не было?

Мистина тоже взглянул на Болву с ожиданием: среди глав посольства, отправленного к германскому королю Оттону, был его младший брат Лют.

– Нет, госпожа, – Болва качнул головой. – С подзакатной стороны при нас никто не приезжал.

– Пустая эта твоя затея! – в сердцах бросил Святослав. – На кой черт нам немцы? Этот Отто и его пресвитеры?

– Я же тебе толковала, – Эльга устало взглянула на него. – Нам трудно будет заставить Константина признать нашу волю поступать по-своему, пока он не испугается, что нас поддержит кто-то другой и что земля Русская получит Христову веру не от царьградского патриарха, а от епископа из Гамбурга. Ты же знаешь, Отто давно добивается, чтобы его признали августом восточных франков, равным греческим царям. А пока Константин противится ему, он не сможет противиться нам...

Она приводила не все свои доводы в пользу этого посольства, а лишь те, которые могли найти путь к сердцу Святослава. Но князь с досадой махнул рукой: он чувствовал, что в словах матери есть смысл, но вникать в него не было охоты.

– А пока мы не сговоримся с Константином, все твои замыслы превзойти Харальда Боезуба останутся пустым мечтанием, – закончила Эльга.

– Если мы не сговоримся с греками – им же хуже... – проворчал Святослав и отпил из чаши, будто хотел запить вареным медом горькую досаду.

Мать затронула самое важное для него. Воевать на одной и той же земле два, три, пять лет подряд Святослава не тянуло. Прошлого лето принесло ему немало славы: при внуках будут петь на пирах о его поединке с Етоном, когда он мечом отбил право владеть землей Бужанской. Но больше там одолевать некого, а возней в городцах из-за лишнего бобра себе славы не прибавишь. Мир огромен, а жизнь коротка. Была бы воля Святослава, он бы всякое лето покорял уже новую землю. И что эти волынские городки, где все серебро в горсти унесешь? Настоящую добычу берут в других землях – у греков. У хазар. На Гурганском море. Мысленно Святослав уже видел себя там. Но жизнь не сказание, тут по облакам ходячим не поскачешь. Снарядить дружину в дальний поход стоит очень дорого. Пройти за Гурган невозможно без согласия – или покорности – хазар, а бодаться с хазарами неразумно без уверенности, что греки не вмешаются. Греки и хазары – давние враги между собой, но, к чести Киева, русы за последние сто лет показали себя достаточно опасными противниками, чтобы ради удержания их в узде цесарь Константин выступил в пользу кагана Иосифа. Мать обещала помочь делу, но уверяла, что добиться дружбы Константина невозможно без склонности к Христовой вере. Язычникам греки не станут помогать. А вот христианам, духовным своим детям, против хазар, которые жидинской веры, – уже может быть разговор.

Но уладить все эти дела нельзя было одним наскоком. О дальних походах и настоящей добыче пока оставалось лишь мечтать. А мелкие дразги со строптивыми бужанами и древлянами приводили Святослава в ярость – казалось, он бредет по болоту, принужденный вытягивать ноги из топи на каждом шагу, вместо того чтобы легко и споро шагать по ровному. У него неплохо получалось прорубать себе дорогу мечом, и этот способ он предпочитал всем другим. Превратить топь в ровное место он не умел. Улаживать все эти сложности – хоть с греками, хоть с немцами, хоть с древлянами, – у матери получалось куда лучше.

– Воюн, старейшина укромовский, грозил к Етону с жалобой поехать, – негромко добавил Унерад. Обещана, услышав имя отца, вскинула на него глаза, и молодой боярин тоже посмотрел на нее. – Уж верно, они там до следующей осени затеют что-нибудь...

– Ну, ладно. – Святослав отставил чашу. Спор с матерью никак не приближал его к желанным целям. – Я подумаю... может, пошлем людей к Етону, велим ему вече собрать... терять людей на эти глупости я не могу! – Он прямо взглянул на Унерада, отчасти признавая свою вину в его увещье.

– И что будет с этой женщиной? – Эльга указала на Обещану.

Сотня глаз со всей гридницы устремилась к молодой бужанке. Та охотно залезла бы под лавку, чтобы спрятаться от них, но сидела неподвижно, даже перестала дышать. Киевская княгиня, похожая на Перуницу в своем блестящем наряде, сидящая на высоком престоле из белого камня, ровно на облаке, требовала решить ее судьбу прямо сейчас.

– Ведь ее отец – нарочитый муж? – продолжала Эльга. – Поэтому вы ее сюда и привезли. Будет весьма неразумно новые обиды ему наносить! Вы и так взбаламутили всю округу, когда увели знатную жену от мужа, а потом и сделали ее вдовой!

– Возьми ее себе, – ответил Святослав. – Я тебе ее дарю. Вместо Снежицы будет. Примешь такой выкуп?

Обещана вскинула голову и широко раскрыла глаза – сама не знала, к добру или к худу решилась ее судьба. Взгляд ее скользнул в сторону тех, кого она уже знала, и упал на лицо Унерада.

Во взгляде его единственного глаза, устремленного через гридницу на Обещану, отражалось сожаление...

* * *

...Когда киевский боярин Унерад упал с седла, а на белый снег брызнула кричаще-алая кровь – Обещана была так твердо уверена, что эту стрелу пустил Домушка, как будто видела это своими глазами. Казалось, и русы должны понимать это так же ясно, а значит, они в отместку прикончат ее прямо здесь! Задохнувшись от ужаса, она зажмурилась и сжалась, прикрыла голову руками; вот-вот на затылок обрушится тяжелый, острый, не знающий промаха варяжский топор.

Но русам было не до нее. Увидев, как их боярин валится с седла, иные из них, еще не остывшие после схватки с драговижичами, кинулись было назад, к городцу.

– Стой, йотуна мать! – рявкнул какой-то из русов, и всадники послушно вернулись. – Хель с ними, боярина поднимай!

Русины соскочили с седел и бросились к своему вожаку. Обещана, едва смея приоткрыть глаза, не видела, что они делали, но вдруг ее пихнули, что-то тяжелое и жесткое упало вплотную к ней. Открыв глаза, она отпрянула сама: это рядом с ней на сани положили боярина в кольчуге. Голова его, без шлема, оказалась чуть не у нее на коленях; почему-то ее поразило, что волосы у него темно-рыжего цвета. Половина лица была залита кровью, из глазницы что-то торчало. Обещана отскочила, выпрыгнула из саней, будто это соседство грозило ей гибелью. На нее сейчас никто не смотрел, трое или четверо русинов склонились над телом.

– От наносника отскочила... – долетали обрывки речей.

– Древко расщепилось...

– Вытащить надо...

– Ветошку давай!

– Да держи его, жма!

– Ох ты, еж твою ж мышь...

Двое держали боярина за руки – он был в сознании и пытался схватиться за лицо. Обещана слышала странный звук: скрип сцепленных зубов, сквозь которые вырывался глухой протяжный вой боли. Кто-то придерживал голову Унерада, кто-то наклонился над его лицом, вынул и бросил на сани окровавленную щепку. Злополучно меткая стрела ударила в наносник шлема – в тот самый миг, когда Унерад, на горе себе, обернулся. От удара древко расщепилось, и острая щепка вошла в глаз возле переносицы.

– Прощайся с глазом... – пробормотал русин, видя, что на руки ему вместе с кровью стекает слизь разбитого глазного яйца.

Рану закрыли сложенной ветошкой, примотали льняными полосами, приложили горсть чистого снега. В это время несколько русов стояли перед санями, щитами прикрывая их со стороны городца, но больше никто не стрелял. Кто-то подобрал воеводский шлем, положил на сани рядом с хозяином. Тот, который вынимал щепку, надел собственный шлем, и вот тут Обещана его узнала – это был русин с круговой бармицей, который увел ее из дома.

– Трогай! – сердито крикнул он, вскочив в седло.

Дым над Драговижем все густел, уже мелькало пламя над кровлями. Понятно, почему русов оставили в покое – жители спешили спасти дома и свое добро. Но русы тоже не имели более охоты к битве и тронулись в путь. Довести живым боярина было важнее, чем продолжать схватку ради мести, и тот, который теперь распоряжался, решил отступить.

В Горинец прибыли ночью. Обещана никогда раньше здесь не бывала – хоть это и не очень далеко от Укрома, но что ей было делать в княжеском городце? В прежние годы Етон, а до того его отец, Вальстен, останавливались здесь, когда обходили землю Бужанскую по дань. В обычное время здесь жила кое-какая челядь и вела хозяйство, разводила скот для пропитания дружины и держала пару десятков лодий на случай, если князь придет по сухому, а дальше на полуночь тронется по Горине. Еще год назад, в первый раз поссорившись со Святославом, старый Етон задумал укрепить Горинец, но успел только заготовить бревна для частокола. Они потом пригодились его противнику-победителю: уже после смерти Етона Святослав продолжил это дело, и его многочисленные отроки за остаток лета вырыли ров, насыпали вал, поставили частокол.

Сейчас небольшой городец был битком набит. Поначалу Обещане показалось, что здесь целая тысяча русов – все то войско Святослава, что в конце весны, перед Купалиями, пыталось взять приступом речной брод. Только на Купалиях ей и случалось видеть так много чужих людей сразу, но здесь все это были мужчины, вооруженные мужчины, чужаки, от которых она не ждала добра ни для себя, ни для рода.

Заведя сани во двор, отроки бережно подняли Унерада и понесли в избу. Тот варяг, которого Обещана про себя звала «зарублю», молча подтолкнул ее туда же. Она боялась его, как медведя: мрачного вида, с низким лбом, с черной бородой, он казался ей еще хуже дикого зверя.

Она вошла, прижимая к себе свой короб; в избе было тесно от людей, горело несколько глиняных светильников на столе. Двое или трое возились с раненым, уложенным на лавку. Обещана не знала, куда приткнуться – куда сесть, куда встать, но один метнулся к печке, погрел пустыми горшками, потом заметил Обещану и сунул ей горшок:

– Воды согрей!

Взяв горшок, она огляделась, заметила у двери кадку. Затем принялась растапливать печь. В избе было холодно: топили только утром, давно все остыло. Кто-то в полутьме колол полешки – прямо в доме. Даже при слабом свете двух-трех огонечков было видно, что изба запущенная, почти нежилая, а изредка приходящие жильцы здесь – не хозяева. Пол был завален сором, углы заплесневели, от постельников на полотах веяло холодной прелью, у печи на приступке громоздились нечищенные горшки и миски и прямо здесь же висели влажные от снега обмотки и чулки-копытца. Между горшками что-то шебуршилось.

– Умеешь за ранеными ходить?

Какой-то из русов взял у нее горшок с теплой водой – тот, который распоряжался. Кольчуги и шлема на нем уже не было, плохо расчесанные светлые волосы из небрежно связанного хвоста падали на плечи, на серую свиту с черными пятнами на подоле – от крови. Обещана не сразу поняла, почему этот совершенно чужой человек кажется ей знакомым. Лишь потом, исподлобья глянув ему в лицо, вспомнила: эти усталые глаза она видела в щели между кромкой шлема и кольчужной завеской. У себя в избе, когда они пришли и забрали ее куниц...

Но даже десяток куниц – немалое богатство! – уже казался мелочью по сравнению с жизнью. Где они теперь, куницы эти? Не обронули в суете?

Рану промыли – тот старший заварил каких-то трав из своих запасов, перевязали снова. Тем временем подошли еще несколько русов – судя по тому, как живо расступались перед ними прочие, это тоже были бояре. От простых их отличала более уверенная повадка, мечи с серебряными рукоятками, висевшие на плечевых ремнях, пояса в серебряных бляшках. У одного из-под свиты виднелся светло-синий кафтан с нашитой полосой узорного красно-розового шелка, остальные были одеты в некрашеную востолу, как и их отроки.

– Чего с ним? – со смесью беспокойства и любопытства заговорил один и тут же схватился за собственные глаза: – Ой, йо-о-тунова рать...

– Это кто же его? – заговорили другие.

Им стали рассказывать о битве в Драговиже, они подходили посмотреть, обращались к раненому с какими-то словами, но он не отвечал. Потом отошли ближе к двери, встали тесным кружком – с ними был и светловолосый, – стали что-то обсуждать. Отроки несколько раз обращались к нему по имени, но оно было какое-то варяжское, непонятное, и Обещана его не могла ни расслышать толком, ни запомнить.

Бояре ушли, и светловолосый удалился с ними, велел перед этим:

– Следите, не будет ли огневицы.

Несколько отроков остались в избе. Про Обещану, похоже, забыли, и она села на лавку, стараясь поменьше шевелиться. Отроки принесли откуда-то со двора кашу в мисках, один съел половину, потом отдал миску Обещане: обтер ложку о подол сорочки и вручил с ловким поклоном, дескать, вежеству учены. Обещана чуть слышно поблагодарила. Сперва ей казалось диким делить с ними пищу, да еще и есть невесть с каким парнем из одной миски и одной ложкой – совсем недавно она так ела с Домушкой, за их свадебным столом... Вспомнив мужа, она едва не заплакала.

– Да ешь, не бойся! – подбодрил ее тот парень, что дал ложку. – Не отравим, я же сам ел.

– А он хоть и страшный, да не ядовитый! – засмеялся тот молодой верзила.

Веселье прервал стон с лавки.

– Тише вы! – крикнул третий отрок, самый старший. Его звали Озорь. – Растягивались...

Те и сами мигом унялись и вскочили; верзила подошел к Унераду и склонился над ним.

Обещана тоже подошла. С повязкой, закрывавшей оба глаза, раненый казался ей страшным, как мертвец – ведь мертвецы среди живых слепы. Лицо его покраснелось, лоб блестел от пота.

– Дай чего-нибудь... – Верзила оглянулся.

Обещана намочила в кадке ветошку и подала, тот вытер лежащему лоб.

– Боярин, ты как сам? – боязливо спросил верзила.

Но Унерад не ответил. Чуть позже издал глухой стон.

– Без памяти, – шепнул другой отрок, хотя чего было шептать: Унерад их не слышал.

– Пойду Стенара поищу, – верзила взял с лавки свою шапку.

Обещана взяла ветошку и еще раз обтерла раненому лоб. Неприязнь в ней соперничала с состраданием. Не сразу она решилась к нему прикоснуться: киевский боярин-рус казался ей существом иной породы. Но теперь, когда с него был снят железный доспех и яркая одежда, в простой белой сорочке он ничем не отличался от обычных молодцев. Всего года на три-четыре постарше Домушки, отметила Обещана, украдкой его разглядывая. Судя по имени, отец его – варяг, а мать – славянка, думала она, не зная киевских родов. Но спросить не решалась.

Вскоре отрок вернулся и привел с собой того светловолосого, который теперь остался за главного. При его появлении Обещана вскочила и отодвинулась подальше от лучины, в темноту. Светловолосый встал перед лавкой, засунув пальцы за пояс, и воззрился на раненого. Обещана тайком разглядывала его. Внешность у него была более чем примечательная: не кра-

савец и не урод, он не внушал ни восхищения, ни отвращения, но каждая мелочь его облика казалась Обещане настолько яркой и притом чуждой, что пробирала дрожь. Лет тридцати, чуть выше среднего роста, с очень широкими и мускулистыми покатыми плечами, он производил впечатление человека сильного и очень хорошо владеющего своим телом. Этому впечатлению не мешало даже то, что у него не сгибалась левая нога – Обещана заметила это, когда увидела его не в седле. Благодаря этому казалось, что все бесчисленные оставшиеся за спиной битвы до сих пор с ним – волочатся сзади, держась за покалеченную ногу. Он имел продолговатое лицо с крупными чертами, нижняя часть которого была укрыта в густую светлую бороду. Длинный, не раз сломанный нос с горбинкой очертаниями напоминал горный хребет и тоже наводил на мысль о множестве схваток. Русые брови неодинаковые – у левой излом круче, видно, из-за давнего шрама, но сам шрам нельзя было разглядеть в полутьме. Глаза небольшие, узкие, глубоко посаженные. Весь облик русина был летописью жизни, состоящей из одних походов, размеченной ими, как у простых людей течение жизни размечают сев и жатва. Смотрел он всякому в лицо прямо, но как бы исподлобья, взгляд был твердый и притом невыразительный, как у зверя.

– Так и я думал... – пробурчал светловолосый. – Будишка! – Он перевел взгляд на верзилу, своего оружничего. – Найди в коробе брусничный лист, завари ему, и давайте пить. Сидите с ним по очереди, а прочие, – он оторвал взгляд от лежащего и обвел притихших отроков, – спать.

Обещана глянула на совершенно темное оконце и осознала: да ведь уже глубокая ночь!

Варяг вышел, вслед за ним убрался и Будишка. Вскоре отрок вернулся, волоча большой потрепанный короб. Поставил под лучинами, откинул плетенную из бересты крышку, и в избе повеяло пряным запахом от смеси сухих трав. У Обещаны сердце затрепетало – таким родным показался этот запах. Невольно она встала – так и потянуло, будто мать, или бабка Поздына, или Медвяна, отцова сестра и лучшая в волости зелейница, заглянули в эту мрачную избу.

– Ты же в зельях понимаешь? – Будишка поднял к ней лицо, держа в каждой руке по холщовому мешку. – Сыщи, где тут лист брусничный!

Обещана опустила на пол возле короба и принялась разбирать мешки. Будишка бросился к печи, но там уже грелась вода в горшке: Обещана поставила ее, как только услышала про брусничный лист. Иные мешочки она развязывала, иные только встряхивала и по резкому запаху с ходу определяла, где что. Уж сколько раз, чуть ли не с тех пор как она научилась ходить, Медвяна водила ее с собой в лес – и весной, едва оживут в стволах соки, и летом, на Купалии, когда все зелья входят в волшебную силу, и осенью, когда зеленые дети матери-земли накапливают свои незримые сокровища, готовясь к зиме. Учила, на какой луне что брать, как сушить, как хранить, как заваривать. От этих чужих мешков, сшитых чужим, непривычным швом, на Обещану веяло домом.

– Это гусятная трава, тоже пригодится, – бормотала она, откладывая мешок. – Она раны заживляет, жар унимает, боль прогоняет. Ивы кора... – Она помяла ее через ткань, развязала мешок, повертела в руках полоски сухой коры. – Негодная она, высушена плохо. Да ее настаивать долго, до свету не будет готово. Грушанка... тоже от огнелицы полезно.

При помощи Будиши Обещана заварила зелье и поставила близ устья печи настаиваться. Отроки тем временем устроили себе лежанки: кто на лавках, кто на полу, на мешках.

– Ты давай, вот здесь ложись. – Стрёма, второй отрок, что угостил ее кашей, положил на пол возле лавки два-три мешка со шкурками, привезенные из Драговижа. – Чтобы возле него... – он кивнул на боярина, – если чего...

Третий отрок, Озорь, молча бросил на мешки свернутый плащ из толстой бурой ветоли. Он был заметно старше двух других: средних лет, зрелый мужчина, но сколько ему, тридцать или все сорок, определить не удавалось. Лицо у него было худое, костистое, а складка рта,

изгиб бровей, но особенно взгляд, напряженный и притом рассеянный, наводили на мысль, что он полоумный. Будто Озорь когда-то был неприятно изумлен, да так и не сумел опомниться.

При помощи Будиши Обещана кое-как напоила Унерада отваром, снова умыла, укрыла. Но жар у него поднимался, он горел и ничего не осознавал.

– Ты спи. Я посижу, – сказал Будиша и сел на край лавки, возле головы Унерада.

Обещана огляделась: не раздеваться же здесь, в чужом доме, среди чужих отроков! Так и легла в запаске¹² и вершнике, только намитку размотала и сняла украшения молодухи с головы, оставшись в повое. Накрылась чужой вотолой, с чужим запахом. Глубоко вздохнула. Как ни мало у нее было надежд на мирный отдых, а все же она ощутила облегчение: слишком она устала, измучилась, и возможность преклонить голову уже была благом.

Несмотря на усталость, спала Обещана плохо. Ей казалось, что она вовсе не спит, а постоянно видит огонь лучин, движение теней, слышит шепот, разговоры по-славянски и по-варяжски. Ни одна еще зимняя ночь не тянулась так долго. В неведомом месте, среди незнакомых недружелюбных мужчин, рядом со стонущим раненым, Обещана чувствовала себя так близко к гибели, что, мерещилось, она может растаять в полутьме сама собой. От мрака, тревоги, бесприютности и неизвестности душила смертная тоска. Все кругом было чужое – люди, стены, каждая мелочь, и эта чуждость резала душу холодным ножом. Наверное, так себя чувствуешь, когда умираешь и сорок дней идешь через неведомые дали до обители дедов – не видя вокруг ничего привычного и зная, что все изменилось безвозвратно, навсегда.

Но даже заплакать не получалось: кто увидит ее слезы, кто прислушается к жалобам? Впервые в жизни Обещана чувствовала такое безнадежное одиночество – никого своих вокруг, никого, кто был бы с нею связан! Даже беднягу Миляту увели куда-то в другое место, и уже казалось, что расстались они год назад.

Пришел светловолосый – теперь она вдруг вспомнила его имя, Стенар, и ее что-то толкнуло встать, но на нее никто не обращал внимания, и она притворилась спящей. Стенар осмотрел Унерада, поговорил со Стрёмой – был его черед сидеть с раненым, – потом лег на Стрёмино место, как на свое, и мигом заснул. Тогда и Обещана, прислушиваясь к его тихому сопению, наконец заснула как следует...

И сразу увидела сон – такой удивительно уместный, что уж верно боги для нее припасли. Как будто стоит она в лесу, кругом снег, а перед нею – та самая избушка на курьих ножках, небольшая, будто ларь для дров. И Обещане нужно в нее лезть. А лаз маленький, как для собаки, полезешь – застрянешь. Но делать нечего – надо. И прямо там, во сне, Обещана точно знала, что происходит: ей нужно преодолеть границу между этим светом и тем, которая через эту самую избушку проходит. Но где она и куда ей надо попасть? Она жива, но ей черед умирать? Или она уже умерла и пришло время родиться заново?

И вот суется она в лаз и начинает протискиваться. Еле-еле идет, изо всех сил упирается. Потом опять видит свет и лесенку. Идет на лесенку – а ее там ждет огромный пес, как говорится, с теленка, серо-бурый и лохматый. И будто бы обнимает она этого пса обеими руками, потом смотрит – а у нее в руках уже человек, парень вроде молодой. Она поднимает голову, хочет лицо увидеть...

Вокруг нее тьма с огнями лучин и движение. Внезапно очнувшись, Обещана не сразу поняла, что это уже не сон. Потом вспомнила: она в Горинце, а вокруг – киевская дружина. Показалось, что проспала она лишь несколько ударов сердца. Но все здешние уже были на ногах: Стенар был одет, Будиша помогал ему натянуть кольчугу, еще какой-то отрок, незнакомый, держал шлем и щит.

¹² Запаска – еще один вид архаичной набедренной одежды, которая состоит из двух полотнищ, надеваемых одно спереди, другое сзади.

Русы уехали – невесть куда. Обещана, вдвоем с Озorem оставшись на хозяйстве, чувствовала себя, как та девушка из сказки, что попала в лесную избу к Железной Бабе: та сама в ступе своей уносится на раздобытки, а гостье оставляет разные наказы. За полдень Обещана решила поменять раненому повязку – от ветошки на глазу уже пованивало. Сделала свежий отвар брусничного листа и змеиноного корня. Озорь привел еще какого-то руса, и те вдвоем держали раненого, чтобы не мешал Обещане снимать повязку и промывать рану. Из раны с кровью вытекал гной, Обещана кусала губы, но старалась не морщиться.

– Помрет... – шепнул второй русин. – Воспалилась рана – карачун боярину.

Обещана не оглянулась, но от волнения сильнее прикусила губу. Смерть Унерада не обещала гориничам ничего хорошего. А что, если русы затеют разбираться, кто выпустил ту стрелу? И что, если обнаружат вину Домушки? Но если и не обнаружат – это же убийство киевского боярина, и убили в Драговиже... Если всему Драговижу придется держать ответ, тоже хорошего мало.

* * *

Дружина вернулась почти еще засветло. Услышав шум движения во дворе, Обещана вышла, накинув кожух на плечи; она и боялась возможных новостей, и жаждала узнать хоть что-нибудь. Но еще пока она вглядывалась в толпу, выискивая кого-то знакомого, ее вдруг схватили за руки. Она ахнула, обернулась... и пошатнулась от нового изумления.

Перед ней стоял ее отец, Воюн. Никогда Обещана не видела родного батюшку таким потрясенным, потерянным – лица не было на нем.

– Деточка моя! – хрипло выдохнул Воюн, торопливо обнимая ее. – Ты жива!

– Батюшка! Ты ли это?

Обещана прижалась к нему, вдохнула от плеча отцовской свиты запах родной избы... И будто проснулась: поняла, что это не сон, не морок, не баснь и не сказание. Все ужасы случились взаправду, а что впереди – еще того хуже. И тут она заплакала навзрыд – изумление и растерянность сменились отчетливым страхом перед грозным будущим. Отец сжимал ее в объятиях, но не властен был удержать – воля чужаков, хозяев этого места, могла каждый миг расшвырять их по разным концам света.

– Бедняжка ты моя горькая... – Воюн гладил Обещану по вздрагивающим плечам. – Вот выпала тебе судьба-недолюшка! Видно, худо мы с матерью богов молили, чуров славили – недолго тебе дали посидеть в золотом витом гнездушке! Темной ноченькой такого горюшка не приснилось, среди бела дня не привиделось!

Под это привычное бормотание знакомого доброго голоса, ощущая ласковое поглаживание знакомой руки и родной с детства запах, Обещана лила слезы, будто река в половодье. Но со слезами выходили горе и страх, на сердце делалось легче: отцовский приговор снимал с нее чужие чары, возвращал в свое гнездо.

– Я так ждала тебя... – бормотал она. – Вчера еще ждала... думала, они к тебе пошлют... ты приедешь за мной...

– А, ты уже нашел ее! – раздался рядом с ними смутно знакомый голос.

Обещана обернулась – к ним подошел тот светловолосый, Стенар. Выглядел он точно так же, как утром, еще в кольчуге поверх свиты, только шлем и щит держал Будиша.

– Ты видишь, ей не сделали никакого вреда, – продолжал десятский, обращаясь к Воюну. – А теперь пойдем боярина проведем.

Он сделал легкий знак, но в нем сквозила такая уверенность в полном повиновении, что больше никаких усилий прилагать не требовалось. Обнимая Обещану за плечи, Воюн повел ее вслед за Стенаром. Тот шел к знакомой избе, не оглядываясь и не проверяя, идут ли они за ним.

При их появлении Озорь, сидевший возле Унерада, вскочил и поклонился Стенару. Стрёма, Будиша и еще какой-то незнакомый рус уже были здесь и шумно сгружали в углу свое снаряжение – оружие, шлемы и щиты. Что-то наперебой рассказывали Озору, но мигом смолкли при виде десятского.

– Вуефастич... – Стенар подошел к раненому, наклонился, осторожно тронул его за плечо. Голос его смягчился и стал звучать почти ласково. – Как ты тут?

– Плохо... – донесся в ответ слабый хриплый голос; он звучал как-то придушенно, будто на груди у говорившего сидела сама злыдня-Невея, мать лихорадок. – Жжет глаза... как огнем. И темно... ничего не вижу. Я ослеп... да?

– Одного глаза у тебя не будет, – медленно вымолвил Стенар. – Стрела в наносник попала, древко расщепилось, щепка в глаз вошла – вытек начисто.

– Совсем не вижу... и вторым тоже... Стенар, прикончи меня, а? – выдохнул Унерад. – Дай мне мой меч в руку и...

Он пошевелил свешенной с лавки рукой, будто хотел найти рукоять любимого меча.

– Не спеши! – Стенар сжал его плечо, и Обещана удивилась, какой бодрой уверенностью зазвучал его голос. – Это всегда успеется. Помнишь, что сказал Один? Даже для калеки можно найти дело, а от трупа никому не будет пользы.

– Что мне... слепому... на гуслих играть, что ли? Кощуны петь? Не хочу...

– Ты из-за повязки вторым глазом не видишь. А снять пока нельзя – надо рану поберечь. Тебе зелья давали?

– Давали. Баба давала какая-то... и Озорь потом.

– Это не баба, это дева молодая, красоты несказанной. – Стенар обернулся к Обещане, хотя Унерад сейчас никак не мог проверить правдивость его слов. – Ходит за тобой, как за родным.

– Да толку с этих зелий – леший хрен...

– Эти не помогут – мы другие найдем. А ты ешь, пей и сил набирайся.

Унерад не ответил. Выглянув из-за плеча Стенара, Обещана увидела, что он по-прежнему красен, и особенно выделяется багровым пятном область вокруг выбитого глаза.

– Сорочку ему смените... – бросил Стенар отрокам и поманил Воюна в дальний угол.

Они отошли втроем. Остановились ближе к двери. Обещану трясло: слабый, прерывающийся голос Унерада и ее навел на мысль, что боярину не жить. «Прикончи меня, а?» Неужели это он взыбыль просил...

Остановившись, Стенар повернулся к Воюну и положил руки на низко расположенный кожаный пояс. Обещана поежилась; в этом человеке не чувствовалось злобы, но была решимость, которую не тронуть слезами и мольбами.

– Вот ты сам видел, что с господином моим, Унерадом, – заговорил Стенар, глядя на Воюна. – А он ведь человек не простой. Отец его, Вуефаст, у Ингвара большим воеводой был, в Царьград послом ездил. Дед его, Фарлов, из ближних у Олега Вещего был, тоже в Царьград послом ездил. Мать его – из Угоровичей, полянских бояр, что на киевских горах со времени Кия сидят и даже, как говорят, в родстве с ним были. Умри он – да весь ваш Драговиж в челядь продать и огнем спалить, и то будет мало.

– Так вы уж взяли за него... плату кровавую... – Воюн держался спокойно и сдержанно, но Обещана чувствовала, что он напряжен и сильно встревожен.

– Что плата? Он мне живой нужен. Не хочу я в Киев ехать с телом и отцу-матери сына родного мертвым везти.

– Так это как богам поглянется, – Воюн развел руками. – Кому сколько суденицы жизни напряли, столько и проживет.

На уме у него были другие молодцы, над чьими мертвыми телами уже плачут в Драговиже отцы и матери.

– Ты здешней округи старший жрец?

– Так я же. – Вспомнив, сколько людей за ним, Воюн выпрямил спину, оправил пояс и бороду и из расстроенного отца снова стал одним из лучших мужей племени гориничей.

– Ты с богами умеешь говорить. Потолкуй с ними, чтобы мой боярин жив стался. Ведь коли будет помирать, – светловолосый перевел взгляд на Обещану, – я эту молодуху Перуну в жертву отдам, Вуефастича выкуплю. Уж как сумею! – выразительно добавил он, намекая на то, что его собеседник лучше умеет приносить жертвы.

Обещана коротко охнула и закрыла рот рукой. Ее, он сказал? В жертву? Взгляд молодухи упал на длинный нож в окованных бронзой ножнах на поясе у русина. Она сглотнула. Нет. Такого же просто быть не может! Три раза в год – на Карачун, на Ярилу Молодого и на Перунов день – Воюн резал во славу богов бычков и баранов. Но о человеческих жертвах здесь слышали только в преданиях. И чтобы ее... дочь старшего жреца, какой-то чужак... умертвил на жертвенном камне родного ее Укрома ради того, чтобы Перун взамен сохранил жизнь Унераду – тоже чужаку, киянину?

Обещана бросила беспомощный взгляд на отца. Тот переменялся в лице и обнял ее одной рукой, будто защищая.

– Да блуд тебя взял!¹³ – с возмущением воскликнул он. – Дочь мою в жертву! Она тебе не овца, не раба! Вы ее в таль брали ради меня! Так вон же я перед тобой, делай со мной что хошь, но дочь мою не трогай!

– Когда ее брали в таль, мы все были здоровы, – напомнил Стенар. – Но уже после этого твой зять набросился на наших людей с топором, а кто-то выстрелил вслед уходящим и попал боярину в глаз.

– Да кто бы стерпел – среди бела дня чужие люди жену от мужа водят, прямо из дома!

– В тальбу порой берутся очень родовитые люди, и в этом нет урона чести. Когда князь или даже царь греческий во время войны затевает переговоры, самые первые их бояре идут в тальбу. Худые родом и не стоят ничего. Это делается как раз для того, чтобы все сдерживали себя и могли разойтись мирно. Однако твои родичи оказались слишком неопытны в таких делах и потому чересчур горячи...

– Еще бы! Не плачивали мы дани чужакам уж лет сто, с аварских времен!

– Времена меняются, и чем раньше вы это поймете, тем дешевле вам обойдется. Но пока вышло так. Если наш уговор изменился не в вашу пользу, то вина в том ваших людей. Они нарушили условия. Но теперь ты здесь, и мы можем кое-что поправить. Найди средство боярина моего исцелить. Я человек простой, неученый, но уж понимаю: за такой дар, за женку молодую, да рода хорошего, Перун над ним смилуется.

– Перуну можно другую жертву принести!

Но Стенар мотнул головой:

– Я не приму другой жертвы. Ни коня, ни быка, ни челядина. Никого из тех, кого тебе будет не очень жалко. Ты – здешний жрец, здесь твоя земля и могилы дедовы. Призови их силу. Ради твоей дочери ты постарайся как следует.

– Видно, что у тебя-то дочери нет! – в сердцах воскликнул Воюн.

– Нет. Ну, или я ничего о ней не знаю, такое может быть. Мой род – это Вуефастова дружина. Унерад – мне и господин, и брат, и сын. Для него я сделаю все, что ты сделал бы для дочери. Возьмемся с тобой дружно – глядишь, и поможем горю.

Рожденный в Киеве, Стенар говорил на славянском языке не хуже самого Воюна, только выговор у него был полянский, а не волынский. Однако Воюн слушал его с таким чувством, будто языки у них совсем разные. Какое там «дружно», если его принуждают угрозой горя и унижения!

¹³ Блуд взял кого-либо – с ума сошел.

– Не помирает ведь он еще! – Воюн посмотрел на раненого. – Вот что. Погоди. Не спеши. Приведу ведунью одну. Есть у нас умная баба... Если она не справится, значит, не судьба ему жить, хоть ты десять человек умертви...

– Скоро приведешь?

– Если сейчас поеду... – Воюн прикинул, где и как быстро сможет найти все потребное, – завтра, может, привезу.

– Йотуна мать! – воскликнул вполголоса Будиша; он неслышно подошел и слушал их разговор. – А если он не дотянет?

– Так летать не умею. – Воюн развел руками.

Потом снова повернулся к Обещане и обнял ее.

– Горючая ты кукушечка моя... Не бойся. Медвяну приведу – она мертвого с того света достанет. Эх, Етон, Етон... ушел сам в Навь и все счастье-долю нашу, видать, унес. Жди, зоренька моя. Я тебя не оставлю. Хоть сами боги отступились от тебя – я не отступлюсь. Вот что, – Воюн выпустил ее из объятий и опять повернулся к русину. – Есть у меня кое-что...

Он развязал огнивицу на поясе и вынул кусочек тканины; развернул, достал что-то маленькое и протянул Стенару.

– Возьми. Перстень сей дорогой, сам князь наш, Етон, моей дочери на имянаречение подарил. Обещал даже жениха привезти ей, как подрастет, – да не дожил. По дружбе тебе дарю, только будь нам другом. Побереги мою дочь, покуда я вам ведунью доставлю.

Стенар взял перстень, повернулся к свету лучины. Блеснуло серебро, тонко замерцала крученая золотая нить... Обещана вздрогнула: жаль было княжеский дар, который всю ее жизнь казался залогом какой-то особой, доброй и щедрой судьбы... Не русу, а жениху она должна была его передать – тому, какого сам князь ей назначит.

– Не жалеи! – шепнул ей отец. – Не принесло счастья нам серебро Етоново.

– Добро. – Узнав знакомую работу, Стенар надел кольцо на средний палец – ему как раз впору пришлось – и кивнул. – Будем ждать до последнего, а до тех пор никто ее не тронет. Но и ты уж не мешкай...

Воюн снова обнял Обещану, и она поняла: сейчас он уйдет. Отстранившись, отец погладил бахром у нее на лбу, оправил намитку, заушницы с нанизанными на кольца стеклянными желтыми бусинами. Хотел что-то сказать, но передумал.

Только когда отец, еще раз кивнув ей от двери, ушел, Обещана догадалась развязать верхний пояс и снять кожух. В голове стоял звон, но не отпускало ощущение, что ей известно еще не все.

Где же все-таки Домушка? Почему она, курица глупая, не спросила отца о нем?

Подняв глаза, она вдруг встретила взгляд Стенара. Он так и стоял на прежнем месте, засунув пальцы за пояс, и смотрел на нее с таким выражением, будто знал о ее судьбе больше нее самой. На правой его руке мерцал золотой нитью Етонов обручальный перстень...

* * *

Уже стемнело, когда Воюн вновь завидел впереди родной Укром. В саях под медвежьей спала Медвяна – его сводная сестра. На первый взгляд Воюна и Медвяну легче было принять за отца и дочь, чем за брата и сестру. Их общий отец, Благун, взял вторую жену уже после того, как женил сыновей от первой, и Медвяна была моложе брата лет на двадцать пять. Однако кое-что общее было у них в очертаниях лба и в разрезе глаз, так что их родство угадать было нетрудно.

Отдав лошадь с саями сыну в городце, Воюн отослал его, а сам вместе с Медвяной пошел по расчищенной тропе к дальнему холму, где между двух оврагов располагалось укромовское святилище. Свои называли его Бабина гора или просто Гора. При нем частокола не было –

вокруг площадки шел только невысокий вал, сейчас менее заметный под снегом. От Укрома туда вела тропа, и сам же Воюн следил, чтобы ее расчищали по мере надобности. Всякий день по этой тропе семенили женки, прижав к груди укутанные горшки с кашей или похлебкой, каравай в ветошке. Отроки возили волокушами дрова и хворост. Правда, пищи и топлива постоянным обитателям Горы требовалось немного.

Тропа вела к проему вала, вход обозначали воротные столбы, издали хорошо видные на белом снегу. На верхушках столбов были вырезаны головы: одна бородатая, другая с гладким лицом. Это были Дед и Баба: по великим дням Деда покрывали шапкой, а Бабе повязывали платок, и так они встречали своих далеких правнуков, приходящих к ним с дарами и угощением. Сейчас Дед и Баба спали, однако Воюн и Медвяна почтительно поклонились их неподвижным лицам. В самой их неподвижности был залог того, что деды берегут внуков день и ночь, зиму и лето, из года в год, из века в век... Ты проходишь, а они все стоят. Когда Воюна малым дитем мать приносила сюда на руках, Дед и Баба вот так же стояли и смотрели на него. Он стал седеющим мужем, отцом взрослых детей – а они не изменились.

Две обчины с внутренней стороны вала были, напротив, довольно новыми: десять лет назад их построили заново, взамен обветшавших и ставших слишком тесными. Напротив ворот, в дальнем конце площадки, стояли три деревянных идола – в середине Макошь, самая высокая, по сторонам от нее Перун и Велес. Их тоже «оживляли» по великим дням, одевая в нарочно сшитые «божьи сорочки», но сейчас убором им служил только белый снег. Не приближаясь к ним, Воюн и Медвяна свернули от ворот по узкой, проложенной двумя парами ног тропке, что вела к двери в ближнем к воротам конце обчины. Более широкая дверь к большому очагу находилась в середине строения, а здесь был отдельный закут со своим оконцем.

Воюн осторожно постучал в дверь. Выждал и постучал еще.

– Отец! – крикнул он. – Это я, Воюн. Не спишь? Отвори! Дело пытаю, не от дела лытаю!

Слегка стукнул за дверью засов, створка приоткрылась наружу. Повеяло густым теплом. Внутри было совершенно темно.

– Спал я уже, – низким, надтреснутым голосом произнесла темнота. – Заходи, да засвети огня. Кто это с тобой?

– Это я, батюшка, – Медвяна поклонилась. – Будь цел.

Они вошли и закрыли дверь. Медвяна осталась на месте, а Воюн осторожно, чтобы не наткнуться на хозяина, прошел к печи и запалил лучину от углей. Закут осветился. Вставляя лучину в светец над лоханью, Воюн обернулся и еще раз поклонился. У двери стоял невысокий, ниже него, совершенно седой старик с длинной бородой. Лицо его, несмотря на морщины, имело очень ясное выражение, лоб, довольно гладкий, был таким белым, словно на него постоянно падал особый луч. Голубые глаза сохранили удивительную яркость – будто два кусочка неба, принесенные тем самым лучом. И выражение на лице старика было не стариковское – радостное ожидание, будто в каждом он видел любезного родича, чьего появления давно ждал.

– По здорову ли, батюшка? – Медвяна подошла и поцеловала его.

– И тебе. – Старик с явным удовольствием принял ее поцелуй, а потом с улыбкой спросил: – А ты кто, красавица?

– Я – Медвяна, дочь твоя младшая, – спокойно пояснила та. – От Негосемы, второй жены твоей. У меня три брата меньших: Зорян, Стужак и Весень. Они со мной живут.

– А! – кивнул старик. – Как домашние? Матушка здорова?

– Она семь лет как умерла, батюшка.

– А муж? Детки?

– И муж мой умер, и детки. – Медвяне нередко приходилось рассказывать отцу об этом, и в голосе ее не слышалось печали. – Трех мне Макошь послала, троих и назад прибрала, да и мужа за ними увела. С братьями я ныне живу.

– Ну, ничего! – Благун потрепал ее по плечу. – Ты баба молодая, найдется еще другой муж.

Медвяна только улыбнулась. Ее мать умерла еще не старой женщиной, лет тридцати с небольшим. И, видно, унесла последние остатки удали мужа. После ее смерти Благун, до того бывший крепким, как старый дуб, одряхлел и согнулся, стал терять память, зато глаза у него сделались такие, будто через него смотрит на родичей само небо. Ясно было, что дух его уже в Нави. С тех пор он жил на Горе, храня ее покой, и покидал священное пространство только в Велесовы дни Карачуна, когда духи дедов и чуров посещают дома живых.

Воюна Благун видел очень часто и его обычно помнил.

– С чем пожаловал-то, сынок? Я уж было спать наладился.

– Прости, отец, что потревожил. Да дело у нас, до утра не могу ждать. Нужно нам... у Зари-Зареницы помощи попросить. У золотого ее веретена. Обещанка... – Воюн хотел было сказать, что дочь его опасно больна, но все же решил не лгать живому чуру, – к чужим людям она в руки попала. Исцелить нужно... русина одного, иначе грозит Обещанку на тот свет с собой забрать.

– Это как? – изумился Благун.

– Русь пришла на Горину. Не наша, а киевская. В Драговиже побоище случилось. Да пусть Медвянка делом займется, а я тебе все расскажу.

Медвяна тем временем зажгла другую лучину от первой и скользнула в дверь, ведущую из дедова закута в большую обчину.

За дверью было холодно, почти как снаружи – в большой обчине огня не зажигали с самого Карачуна. Здесь стоял тот особый холод застоявшегося воздуха, что бывает в давно нетопленных помещениях и кажется даже сильнее того, что снаружи, где есть ветер и солнечный свет. Пройти сразу дальше Медвяна не решалась, хотя знала это место с рождения. Всякий раз, если она приходила сюда одна, ей требовалось постоять и убедиться, что здесь все недвижно и тихо. Что деды и бабки не сидят невидимо за длинными столами, толкуя о делах. Что она никому не помешала... С годами ощущение их незримого присутствия у Медвяны усиливалось – сейчас оно было больше, чем в детстве, в отрочестве или во время замужества. Видимо, смерть мужа, отворившая ей дверь на тот свет, отворила и разум ее.

Но вот она прошла к очагу между двумя рядами столов и лавок, лучиной подожгла заготовленную под дровами берестяную и соломенную растопку. Отодвинула ближайшую заслонку, чтобы выходил дым. Зажгла от лучины глиняный каганец на столе, взяла его и ушла в дальний конец, где у верхнего края стола находился чуров очаг в окружении трех небольших идолов. Эти три все были женские. На велики-дни одному повязывали платок, другому намитку, а третьему надевали цветочный венок с косой из лучшего вычесанного льна.

– Матушки наши, простите, что не вовремя потревожила вас, – прошептала Медвяна чурам. – Беда случилась. Самая лучшая из дев рода нашего чужим людям в руки попала. Нужно вызволить ее, а для того исцелить русина раненого. Помогите мне силу Макоши и Живы призвать, золотую нить спрясть, науз соткать.

Она положила к подножию каждого из трех идолов по кусочку хлеба, взятого из Благоуновой избы. Еще раз поклонилась, прислушалась.

По сторонам очага стояли большие резные лари, где хранились «божьи сорочки», всякая утварь и лучшая посуда для священных пиров. Медвяна, дочь бывшего старшего жреца и сестра нынешнего, знала там каждую вещь – она же на всякий велик-день доставала нужное, готовила, потом обмывала и убирала до следующего случая. Но то, что Медвяна искала, было не там. Не уловив никаких возражений от матерей рода, она обошла очаг, встала на колени и откинула черную овчину на полу. Показалась широкая дубовая доска. Медвяна просунула в щель лезвие поясного ножа и приподняла ее.

В земле оказался спрятан еще один ларь, и его не так-то легко было бы найти чужакам, окажись они здесь. Медвяна вынула сначала клочок чисто-белой шерстяной кудели, уже вычесанной и готовой для прядения, отделила часть и положила к подножию чура-старухи. Потом вынула веретено и положила к чуру-матери. Последними появились старинные ножницы черного железа – их Медвяна вручила чуру-деве.

Потом немного помедлила, собираясь с духом. Богини получили орудия, чтобы участвовать в ее работе, но главное она должна сделать сама. Ей было разрешено прикасаться к величайшему сокровищу рода, но тревожили его редко. На Карачун обычно баба Поздына, самая старая в Укроме, доставала веретено Зареницы и пряла нить на счастье-долю всех гориничей в предстоящем году. А помимо этого к святыне прикасались только по очень важным поводам – для отвращения больших общих бедствий.

Вспомнив, как спешил всю дорогу Воюн и как жаждет поскорее вернуться в Горинец, Медвяна заторопилась. Вынула из подземного ларя нечто длинное, завернутое в кусок удивительной ткани – греческой паволоки, алой, как заря, вышитой потускневшим золотом. Положила себе на колени и развернула.

В куске шелка лежала довольно длинная тонкая палочка, в свете каганца сиявшая чистым золотом. Это было веретено, в локоть длиной, ничем не отличавшееся от обычных, деревянных, но только обернутое в тончайший золотой лист. Как подобное сокровище, единственное на свете, попало в Укром – об этом было целое предание, и никто не сомневался: золотое веретено, точь-в-точь такое, как прочие золотые и серебряные вещи из небесного чертога солнца, когда-то бывало в руках богов и от них перешло на землю. У Медвяны дрожали пальцы, когда она к нему прикасалась. Все внутри переворачивалось от мысли, что здесь, в этой темной клетке, у нее на коленях лежит настоящий кусочек небесной силы. Это было почти то же, что прикоснуться к руке божества... Макоши, судениц, Зари-Зареницы.

Из-за спин идолов Медвяна достала прялочную столбушку с лопаской и вставила ее в отверстие на краю скамьи. Прикрепила на лопаску кудель – от белых овец, вымытую, вычесанную. И заговорила, будто рассказывая дивную сказку – самой себе, трем матерям рода, что стояли перед ней в деревянном обличье, стенам старой общины и тем сотням незримых слушателей, чье присутствие здесь она всегда так ясно ощущала.

*На море-окияне, на острове Буяне,
Лежит бел-горюч камень,
На том белом камне стоит серебряный стул,
На серебряном стуле сидит Заря-Зареница, красная девица,
Подпоясана золотым поясом,
Подперта золотым посохом...*

Медвяна не то говорила, не то напевала, убаюкивая саму себя. Это хорошо получалось у нее с детства: она сама первой засыпала, когда качала зыбку с кем-то из меньших братьев. И немедленно начала видеть то, о чем пела: тьма вокруг налилась золотом и багрянцем летней зари, и там, где только что стоял липовый идол Макоши, потемневший от долгих лет, сухой и молчаливый, уже виделась ей живая юная дева со светлой косой, с голубыми очами, блестящими и яркими, как кусочки неба. У этой девы было лицо Обещаны – Зари укромовского рода.

*Она прядет золотую нить,
Берет золотую иглу,
Зовет-призывает к себе сестер своих,
Зарю Утреннюю и Зарю Вечернюю.
Ой вы сестры мои, Заря Утренняя и Заря Вечерняя!*

*Вы берите золотую иглу,
Вдевайте золотую нить,
Зашивайте раны кровавые
Унерада, Ву-е-хвас-това сына...*

Медвяна очень старалась не сбиться, произнося непривычное имя русина. А пальцы ее ловко и привычно тянули белую тонкую нить, нить скользила на веретено, пляшущее с глиняным прясленом на нижнем конце, и правая ее рука уходила все дальше от столбушки, по мере того как растягивалась нить.

*Они зашивают, приказывают:
Черная птица, болезнь-трясовица,
С железными когтями, с черными крылами,
С тоской тоскучей, с болью болючей, с бедой бедучей —
Отцепись от Унерада, Вухвастова сына!
Ты, железо, поди прочь, отстань,
А ты, кровь-руда, течь перестань!
Она шьет-расшивает,
Кровавые раны зашивает.
Тянет нить от восхода до захода,
Та нитка обрывается, кровь-руда унимается...*

Такие заговоры, как колыбельные песни, можно было тянуть сколь угодно долго, повторяя с небольшими изменениями одни и те же слова, обращаясь к божествам с новыми восхвалениями с теми же самыми просьбами. Медвяна считалась даже среди старших баб великой искусницей по этой части, но не знала за собой заслуги: заговорные слова сами цеплялись одно за другое, как волоконца шерсти, она лишь выпевала голосом то, что видела перед собой.

Но вот Медвяна замолчала, будто очнулась, и посмотрела на веретено. Если начинаешь прясть, перестать трудно: нитка сама тянет за собой, и страшно оторвать ее, будто с этим обернешь саму судьбу. Но она напряла достаточно, и ей еще немало работы предстоит.

Не хотелось останавливаться, выходить из того алого с золотом сияния, чтобы снова идти в зимнюю ночь... Но ведь сама Заря-Зареница каждое утро именно так и делает, вдруг осенило Медвяну. Она выходит в ночь, в холод, полный чудовищ, и собой освещает путь солнцу. И никто не может посветить ей – в том и состоит ее божественная суть, что свет позади нее, а не впереди. Лишь одна верная подруга поджидает ее во тьме – Утренняя звезда, чтобы Зареница видела, что она не одна на небокрае...

Убрав золотое веретено назад в подземный ларь, Медвяна вынула оттуда в мешочке десяток небольших дубовых кругляшков с двумя отверстиями в каждом и стала разматывать спряденную нить...

Уже настало утро, хотя за оконцем еще висела плотная тьма, когда вновь скрипнула дверь между Макошиной обчиной и Благуновым закутом. Благун сидел у стола; он спал ночью мало, вполосину меньше обычных людей. Воюн, видимо, только проснулся: он сидел на лавке, на расстеленном постельнике, и, зевая, продолжал говорить:

– Я сам чуть не посидел там – смотрю, на реке войско целое, да все в железе, шлемы, щиты! Уж сколько раз мы слышали, как по земле Деревской Марена погуляла! И у нас древляне живут, и в Плотвицах, и в Новинце! Выходит, не ушли они от беды своей, а нам ее на плечах принесли!

Увидев Медвяну, он прервал речь и встал.

– Готово! – Медвяна показала смотанный тонкий шнур, выкрашенный в бледно-красный цвет и еще не вполне просохший. – Ох, я умаялась!

– Давайте вы каши поешьте! – Благун встал. – Мне вчера бабы принесли горшок – одному в три дня не управиться.

И торопливо двинулся к уже растопленной печи – погреть кашу. Не имея других дел, бывший старейшина и старший жрец приноровился ловко вести хозяйство в избе, не хуже любой бабы.

Когда начало светать, Воюн простился с Медвяной перед воротами Укрома. Ему пора было заняться другими делами, а она отправилась туда, где ее с таким нетерпением ждали. Несговор, один из братанчей Воюна, уже сидел в санях. Устроившись, Медвяна как следует укуталась в медвежину, преклонила голову на свой короб с зельями и ветошками – и тут же заснула. Так и поехала, уже сонная, не слыша прощальных напутствий старшего брата...

* * *

Отец уехал, и только теперь, казалось, Обещана узнала настоящее одиночество. Она пришла сюда, в Горинец, против воли, она вовсе не хотела оставаться среди русов, этих чужих, опасных людей – но отец, заботливый и любящий, из числа лучших мужей волости, не имел власти забрать ее отсюда. Обещана мерзла от этого ощущения полного бессилия и бесправия; сидела, обхватив себя за плечи, но едва могла унять стук зубов.

– Зазябла? – окликнул ее Будиша. – Стрёмка? Ты чего спишь, угрызок? Изба простыла, а тебе нужды нет!

Стрёма молча встал и пошел за полешками. Обещана пересела ближе к печи, но здесь ее потянуло заплакать – будто тепло нагретых камней растопило источник слез в груди.

– Стенар... – позвал Унерад с лежанки. – Здесь ты?

– Я здесь. – Стенар немедленно поднялся и подошел к лавке.

– Стенар... – Унерад глубоко вздохнул. – Поклянись мне...

– Что?

– Если я насовсем ослепну... ты мне поможешь умереть.

– Что ты на тот свет торопишься? – невозмутимо ответил Стенар. – Туда не опоздаешь. А тебе куда спешить, молодой еще. Подумаешь, одного глаза не будет! Другой-то останется! Все у тебя есть – род знатный, отец уважаемый, матушка мудрая, дом изобильный... Жены вот только нет... не было. Да у нас для тебя и жена теперь есть.

Стенар обернулся к Обещане, но она не сразу поняла, почему он на нее смотрит. Русин сделал ей знак подойти, и Обещана повиновалась, все еще не понимая, при чем здесь она.

– Вот, готовая для тебя невеста. – Стенар взял ее руку и положил на грудь Унераду. – Красавица шестнадцати лет, красивая, как... как гривна золота. И она твоя навсегда теперь, – он слегка похлопал по руке Обещаны, лежащей на груди раненого, горячей и немного влажной из-за жара. – Ты будешь жить – и она с тобой будет жить, ты умрешь – и она с тобой на одно смертное ложе уляжется.

И взглянул на нее, давая понять, что ей эти слова предназначены так же, как и Унераду.

Обещана взглянула на него округлившимися глазами. Что он такое несет? Если Унерад выживет, то она домой воротится, к мужу! Они ведь так с отцом ее договорились? Да и кто мужнюю жену за другого сватает?

Но не посмела возражать. Наверное, Стенар обманывает раненого, чтобы тот не думал о смерти... К чему Унераду гибели искать, даже если он ослепнет? Он ведь богач, его дед большим воеводой был. Ему и без глаз горя мало – челядь оденет, обует, накормит, будет сказки сказывать да песни петь, чтоб не скучал. Да и жена сыщется: родовитый да богатый – и слепым будучи, тоже жених...

Как ни нелепы ей показались Стенаровы речи, Унерада они позабавили.

– Скажешь тоже! – Он почти усмехнулся. – Женил уже... сват... Это какая девка? Что вы из Драговижа привезли?

– Она рода знатного – ее отец в здешней округе старший жрец. И сама красавица, дева ловкая, умелая, приветливая. Уж и перстень обручальный приготовлен, вот он у меня. – Стенар снял с собственного пальца старый Етонов дар и вложил в ладонь Унерада, чтобы тот мог его пощупать.

Тот сжал перстень в ладони и слабо засмеялся, немного задыхаясь. Если болтовня Стенара о женитьбе имела целью поднять дух раненого, то успеха он добился. Страдая от боли, плохо соображая в жару, Унерад не задавал вопросов, почему это он вдруг должен жениться на невесте откуда взявшейся местной девице, с чего это десятский собственной дружины взялся сватать его полуживого, без ведома отца и матери. Сама мысль о свадьбе, как о высшем проявлении жизненности, зацепилась в мыслях и служила опорой, не давая соскользнуть во тьму. Казалось, он плывет через огненную реку, а когда одолеет – на том берегу ждет его новая жизнь и краса-девица. Нельзя умирать – жениться надо, невеста ждет...

Но Обещана, благо Унерад ее не видел, даже не пыталась улыбнуться.

* * *

– Стенар, ты здесь? – крикнул от двери Стрёма, оружничий. – Зелейница приехала, которую Воюн прислал.

Услышав имя отца, Обещана повернулась к источнику дневного света, но увидела не его, а Медвяну. От радости, что теперь есть кому пожаловаться, на глаза запросились слезы.

– Да вы родня! – заметил Стенар, глядя, как Обещана кидается на шею гостю.

У него был зоркий глаз: поначалу во внешности этих двух женщин были заметны только различия, и лишь потом проступало сходство. Сбивали с толку ярко-рыжие брови Медвяны, обилие веснушек, из-за чего вся ее кожа казалась золотой, и яркий, как у многих рыжих, румянец на немного впалых щеках. Очень похожи были глаза – ярко-голубые, над высокими скулами. А увидев это сходство у Благуновых потомков, легко было заметить одинаковой разрез глаз и очерк лица. Но если Обещана в свои шестнадцать так и излучала здоровье и бойкость, то Медвяна, на десять лет ее старше, не шагала, а скользила, как золотистая тень.

– Дочь брата моего эта кукушечка горькая! – ответила Медвяна, обнимая Обещану. – Цел будь, боярин.

– Я не боярин, я десятский его. Боярин вон лежит. Так ты сестра Воюна?

– Истинно.

– Рассказал тебе Воюн, что будет, коли...

– Рассказал, – ровно кивнула Медвяна. – Я слышала, из Драговижа чуть ли не бегом сбежала.

– Ты была там? – всхлипнула Обещана.

– Они еще с ночи, прямо после побоища за мной послали. Плетина догадался. У них ведь народу побито-поранено – уйма.

Обещана снова начала плакать: теперь, когда было кому жалеть ее, удержаться стало невозможно.

– Ты Домушку моего видела? – прошептала она, боясь лишний раз произносить имя мужа при русах.

– Видела. Уж обрядили. В бане лежал, завтра и на краду...

– Что? – Обещана в изумлении уставилась на нее.

В голове поплыло.

Медвяна произнесла это «уж обрядили» так обыденно, как о том, о чем знает весь белый свет. Слова эти могли иметь только одно значение, но... как их приложить к Домушке?

– Ты не знаешь, да? – Медвяна слегка коснулась заушницы на виске Обещаны. Вгляделась в ее глаза, где отражалось только недоумение. – Отец не сказал тебе? Домаря ведь еще в тот день убили. Прямо как началось это все... перед воротами. Люди и заметили не сразу, а потом, как уехали русы, нашли его. От ворот в десяти шагах. Самым первым.

Обещана услышала ее, но слова эти не сразу дошли до сознания. Сперва она поняла одно: ей наконец-то рассказали то, что она хотела знать. Вот где Домушка, вот почему не приходит за нею. Он... убит?

Напрасно она боялась, что он пустил стрелу, покалечившую Унерада. Он не мог – он был уже мертв. Он погиб почти сразу после того, как вынул из-за пояса топор и бросился на русов, уводивших его жену. Те мгновения, когда она видела его в последний раз, и были последними в его жизни. А она не узнала об этом, потому что сидела, прячась за саями, съезжившись и зажмурившись. Потом ее унес прочь от городца тот рус, который говорил «зарублю», и она не смогла даже оглядеться. А если бы смогла, то увидела бы мертвое тело... своего мужа.

Образ Домаря вдруг показался далеким-далеким, как если бы они расстались сто лет назад. Его лицо еще стояло у нее перед глазами, но недавняя жизнь с ним уже казалась полузабытым сказанием, услышанным когда-то в детстве.

В бровях Обещаны возникла резкая боль, и, словно выжатые этой болью, из глаз потекли слезы. В ушах зазвенело, и от этого звона усиливалась боль в голове.

Она не хотела верить. Но вспомнился взгляд отца, его бессвязные речи. Он-то знал, что его дочь – уже вдова. Но не решился сказать ей это, когда она только что узнала о том, что ей грозит участь жертвы за жизнь Унерада.

– Ну, погоди, после потолкуем, – Медвяна сжала ее руку. – Жив этот ваш...

– Вон он, – помертвевшая Обещана кивнула ей на Унерада.

Она не понимала, как это: Унерад, чужой и враждебный ей человек, жив. А Домушка... ее муж...

Медвяна отстранила ее и прошла через избу к раненому. Пока она снимала повязки, что-то успокаивающе воркуя по своему обыкновению, Обещана сидела под оконцем, ловя воздух ртом. Хотелось закричать, запричитать, зарыдать – но она не смела шуметь, уже привыкнув, что здесь нужно быть потише.

Вот Медвяна отошла от лавки, приблизилась к Стенару и что-то негромко ему сказала. К удивлению Обещаны, русин тут же с готовностью кивнул, поднялся, позвал Будишу и что-то приказал. Тот убежал, вскоре вернулся еще с троими, и все вместе русины передвинули скамью, где лежал раненый, под самое оконце. На удачу, Медвяна объявилась в середине дня, когда на дворе было не только светло, но даже выглянуло солнце, и сквозь пузырь через оконце в ширину бревна проникало достаточно света, хоть шей самым мелким швом.

– На вот, – Медвяна вынула из собственного короба мешочек и передала Обещане.

Сколько таких мешочков ее изготовления Обещана за жизнь свою перевидала и передержала в руках! Поднеся к носу, она встряхнула его и сразу поняла, что внутри. Это сон-трава. Ей дано Перуном исцелять раны, нанесенные оружием, но чтобы пробудить ее силу, нужна мудрость истинного зелейника.

Медвяна взялась заваривать «медвежий корень». Это дело она пока Обещане не доверяла. Сон-трава, что саму богиню погружает в сон, хитра и коварна. Свежая она ядовита, и брать ее надо только через ткань, чтобы не обжечь пальцы, а потом сушить три месяца. Корень ее усыпляет, но в руках у неумелого травника может и убить.

Видимо, Стенар об этом знал. Он стоял возле Медвяны, засунув пальцы за пояс, и внимательно наблюдал, как она отмеряет костяной ложечкой в горшок немного порезанного и высушенного корня.

– Для чего это?

– Этот корень зовут медвежьим, – привычно стала рассказывать Медвяна, осторожно наливая воду. – Когда медведю пора в спячку, находит он этот корень, лизнет раз-другой, да и заснет до весны.

– У меня тут нет медведя.

– Мне нужно рану осмотреть как следует, – прошептала Медвяна, подняв к нему лицо. – Лучше, если боярин в это время будет крепко спать.

– Это верно. Но я хочу быть уверен, что он проснется.

– Думаешь, уморить его хочу? Меня не для того к людям зовут. Вздумаю силу зелий на зло призывать – мать-земля меня силы лишит, и зелия мои вовсе бесполезными станут. Никакую силу, что богами дана, нельзя во зло применять. Не прощают боги измены своим дарам.

«А вы хоть и какие, а тоже люди», – мысленно дополнила она.

– Твоя племянница обручена с Унерадом. – Стенар постучал указательным пальцем по среднему на другой руке, где у него недавно сидело кольцо Етона. – Если он умрет, она пойдет с ним на смертное ложе. Воюн отдал мне то кольцо, которое ей оставил Етон при рождении, и теперь вся ее судьба в наших руках.

Удивленная Медвяна повернулась к Обещане, и та кивнула: про кольцо Стенар сказал правду. Про смертное ложе, надеялась, – нет.

– Вот как... – Медвяна выпрямилась и взглянула в лицо Стенару. – Брат мой – мудрейший человек. Видно, и правда... большая беда над девой нависла, коли он ее судьбу с вашей связал.

– Он хотел просто... ну, задобрить его подношением, – шепнула Обещана, глазами слегка показав на Стенара. – Кольцо – оно же дорогое...

– Через мудрого человека боги говорят, даже если сам он об этом не знает, – улыбнулась Медвяна. – А Воюнушка тогда уж знал, что ты вдова.

– Но он не мог желать, чтобы я... среди этих нового мужа нашла! – в возмущении воскликнула Обещана.

Голос ее ломался от слез.

– Ты уже у них в руках была, и отец хотел, чтобы они тебя за свою считали. Сам не мог тебя защитить – кольцо Етоново в защитники послал. Ну а чтобы смертное ложе стелить не пришлось – мать-земля поможет.

От жара Унерад мало что соображал и едва ли заметил, что возле него появилась новая женщина. Он безропотно дал напоить себя настоем медвежьего корня и вскоре впал в полное беспамятство. Стенар немного переменился в лице, но молчал, веря, что если не киевского боярина, то свою племянницу ведунья не захочет увидеть на краде.

Стенар стоял рядом с Медвяной, когда она снимала повязку с лица Унерада. Вместе с ним ей помогал старый Бергтур. Медвяна сама попросила позвать еще кого-то из знатных русов, чтобы потом ее не обвиняли, будто она нарочно причинила зло. Бергтур за долгую жизнь повидал много ран и пострашнее этой, имел богатый опыт и отличался присутствием духа.

– Унерад может считать себя избранником Одина! – сказал он, пока мыл руки у лохани. Обещана поливала ему, держа рушник на плече. – Теперь они схожи, и я надеюсь, Один пошлет ему силу выжить, чтобы оставить о себе более длинную сагу. Ведь если о тебе нет саги, то и знатный род не поможет обрести вечную славу.

Голубые глаза под седоватыми бровями сияли жизнью, и лицо казалось молодым, несмотря на морщины. Есть такие любимцы богов – кому годы лишь прибавляют опыта и мудрости, но не делают старыми.

Обещану помогать не звали, и она отошла в сторонку. Возле лавки остались трое: ведунья и два руса, державшие раненого с двух сторон. Обещане была видна спина Медвяны: ведунья,

бросив на пол старые ветошки с пятнами крови и гноя, склонялась над Унерадом. Для похожих случаев у нее была особая маленькая лопаточка из медвежьей кости, она получила ее от своей покойной свекрови, тоже ведуньи. Та умерла в первую же зиму после замужества Медвяны: видно, ждала невестку, чтобы силу ей передать. О том, как произошла эта передача, Обещана ни разу не решилась спросить.

– Мы думали, не задет ли у него мозг той щепкой, – донесся до Обещаны голос Бергтура. – Там ведь, на дне глаза, кость очень тонкая, и ее легко пробить.

– Тогда он бы до сего дня не дожил, – ответила Медвяна.

– Не скажи! Человек – такая скотина, когда он хочет жить, то способен на невероятное! Я видал живых людей с такими проломами в черепе! У Ивора в Вышгороде был один дренг, ему однажды рассадил череп топором, когда осаждали Сверкера смолянского, так он говорил: «Теперь никто не посмеет назвать меня дураком – всякий мог своими глазами убедиться, что у меня есть мозг!»

– Да... но... нет, кость цела, – объявила Медвяна. – А вот что... чуть его не убило!

Оба русина издали возгласы, но ни Обещана, ни оружничество, от двери наблюдавшие за ведуньей, не посмели подойти посмотреть.

– Мы вынули не всю щепку! – воскликнул Стенар, глядя, как на тряпочку с комком гноя выпадает часть щепки от древка; совсем маленькая, не толще сосновой иглы, она тем не менее портила кровь раненому и могла довести до гибели.

– Для этого нужны тонкие женские пальцы, привычные к мелкой работе, – сказал Бергтур. – Но теперь дело пойдет на лад!

Рану вновь промыли очищающими отварами и перевязали.

– А теперь самое важное, – сказала Медвяна. – Отойдите, здесь чужие глаза не нужны.

– Что ты хочешь делать?

– Науз я для вашего боярина спряла-соткала. Сила в нем могучая... не для всякого из своих я бы его сотворила, – вздохнула Медвяна, зная, что золотое веретено Зареницы не допускается тревожить часто. – Будет носить, покуда не поправится. Ты вот подойди, – она кивнула Стенару, – приподними его.

Стенар приподнял бесчувственное тело раненого, и Медвяна опоясала его под рубахой тонким бледно-красным шнуром, что соткала минувшей ночью во тьме общины, под ликами трех судениц.

– Огороди меня, Унерада, Вуехвастова сына, соблюди меня, – шептала она так, чтобы даже Стенар не разбирал слов, – сбереги меня тыном железным, от земли до неба, запри, замкни силу мою тремя замками железными, тремя ключами золотыми...

Стенар напряженно вслушивался, но напрасно: это был особый знахарский шепот, когда ни одного произносимого слова разобрать нельзя. Так его сила крепче. Он знал об этом, но все же не мог быть спокоен за жизнь Унерада, полностью отданную в руки этой женщины – слишком молодой для ведуньи и все же с незримой печатью Нави на лице. Благодаря веснушкам и золотистым бровям ее голубые глаза, общее достояние всей этой семьи, казались еще ярче. У нее был удивительный голос, он заметил это при первых же словах, которые она произнесла по приезду: для женщины довольно низкий и хрипловатый, однако очень звучный, он не слишком вязался с ее легким сложением и создавал ощущение тайны. Женщина держалась просто, была приветлива, но Стенара не оставляло чувство, что она утаивает самое важное. Однако проникнуть в ее тайны было так же немыслимо, как отделить блестящую поверхность воды от ее же темных глубин.

– Пусть науз никто не трогает, а как в баню поведете, и там не снимайте, – добавила Медвяна, закончив шептать. – Когда поздоровеет, я сама сниму и все нужное сделаю. А то если снять не умеючи, то все скорби и болезни снимающий на себе переймет.

Унерад еще не очнулся, но все кияне явно повеселели и просветлели лицами.

– Как долго его нельзя будет трогать с места? – спросил у Медвяны Стенар. – Болва сказал, что не оставит его здесь, но нельзя везти раненого зимой, если этот путь грозит его убить!

– погоди! – остановила его Медвяна. – Уже и в путь снаряжился. Не отпустила его еще Невеюшка. Как жар спадет, тогда будет видно.

– Ты не уйдешь? – с тревогой шепнула Обещана, пока они собирали тряпки и горшки.

– Побуду, пока дело прояснится.

Обещана с благодарностью коснулась руки своей стрыйки. Теперь, когда она лишилась мужа, утратила связь с его родом, Медвяна казалась ей почти единственной привязанностью в жизни. Как будто, забрав ее из Драговижа, русы подрубили сам корень ее, и не прирасти срезанной ветке на старое место...

Но где ее новое место? Однажды Обещана видела молодую сосну над песчаным обрывом – та держалась неведомо как, почти все ее корни висели в воздухе. Себя она сейчас ощущала такой же сосной, пытающейся удержаться на пустоте.

* * *

Три или четыре дня прошли без особых перемен. Очнувшись, Унерад вскоре уже сказал, что чувствует себя лучше. Ночью у него еще раз поднялся жар, но затем резко упал, оставив обильный пот. Боль в глазнице тоже уменьшилась. Медвяна оставалась в Горинце, поила раненого отварами и промывала рану. Лихорадка не возвращалась, жар и боль в глазнице унялись. Еще сохранялась опасность того, что воспаление перекинулось с выбитого глаза на здоровый, из-за чего Унерад ослеп бы полностью. Ему об этом не говорили, уверяя, что он не видит из-за повязок.

– Расскажи нам что-нибудь, – иной раз приказывал Стенар Обещане. – Какие у вас тут на Горине предания есть любопытные? Давай, потешь боярина сказкой какой.

Конечно, она, дочь Воюна, знала много преданий.

– У Брегамира, пращура нашего, было три сына, – начинала она, – и младшего звали Зорник.

Дико было рассказывать чужим то, что обычно рассказывают перед свадьбами, но ослушаться она не смела, и память уцепила самое близкое.

– Был у Зорника конь, и вот однажды повел он на заре вечерней к реке коня напоить, увидел там девок красных и давай хвалиться:

«Конь мой – на свете лучше всех коней, такой он быстрый, что за один день могу на нем всю землю объехать».

А Солнце в ту пору низко стояло на небе, услышало оно эти речи и говорит:

«Если так, давай мы с тобой поспорим, об заклад побьемся: если объедешь за день всю землю, то отдам тебе в жены сестру мою, Зарю Утреннюю. А не объедешь – коня твоего себе заберу».

Зорник согласился. И вот выходит он ранним утром, до свету еще, коня седлает и в путь отправляется. Только вставил ногу в стремя, как пустился конь бежать, раз скакнул, два скакнул, три скакнул – и гляди, половину земли уже объехал. А Солнце ведь тоже путем своим идет, и прошло уже половину пути. Палит лучами, жарко стало Зорнику, притомился он. Спешился, привязал коня у куста ракитова, а сам под тот куст лег и заснул. Конь видит – Солнце к закату клонится, а Зорник все спит. Стал он копытом бить, ржать, звать: «Проснись, Зорник, Солнце к закату клонится, не поспеть тебе за ним».

Вскочил Зорник, отряхнулся, сел в седло да ударил коня плетью шелковой. Конь раз скакнул, два скакнул, три скакнул – на третий скок всю землю обошел и прямо к Солнцевым воротам прибежал. Входит Зорник в ворота, а там его сестра Солнцева встречает – Заря

Утренняя. Взяла она коня у Зорника, стала по двору водить. А тут и Солнце домой вернулось. Сели Зорник и Солнце за стол, стала им Заря ужин подавать. А как поели, Зорник и говорит: «Исполнил я уговор наш, отдавай теперь мне Зарю Утреннюю в жены».

И отдало Солнце ему Зарю Утреннюю. Посадил Зорник ее на своего доброго коня и повез домой к себе. А в приданое Солнце ей дало много всяких сокровищ: петушка – золотого гребешка, свинку – золотую щетинку, веретено золотое...

Обещана осеклась. Рассказывая, она почти забыла, где находится и для кого говорит: знакомое с детства сказание унесло ее в былые годы, в беседу Укрома, где эту же повесть от зимы к зиме рассказывала внучкам старая баба Поздына, мать Обещаны, стрыйка Медвяна... Она даже забыла о своих бедах, сердцем вернувшись домой. Очнувшись, удивилась: почему-то в этот раз Зорник виделся ей куда яснее, чем обычно, и каким-то новым: это был рослый молодец с ярким румянцем на белом лице, с темно-рыжими, как вересковый мед, волосами...

Но вот она опомнилась. Не золотые солнечные палаты вокруг нее, а угрюмая изба чужого города Горинца. При этих людях она не могла закончить сказание, как обычно.

– И стали они жить-поживать да добра наживать, – со вздохом закончила она, подводя обычную черту повествованию.

Отроки слушали с мечтательно-рассеянным видом. Даже Стенар остался доволен.

– Вот видишь, боярин, – сказал он Унераду, – невеста твоя из внучек самой Зари-Зареницы. Выздоровлявай скорее – как взглянешь на нее, сразу помирать расхочешь.

И вот однажды, когда Медвяна сняла повязку, чтобы переменить примочку, Унерад вдруг зашевелил веком второго глаза и охнул:

– Йотуна мать! Я вижу!

Медвяна отступила, чтобы не загораживать свет, отроки вскочили и бросились к нему. Унерад сидел на лежанке, держась руками за лоб, будто свет с непривычки его ранил. Но вот он опустил руки и, боязливо морщась, поморгал.

– Стенар... это же ты... я тебя вижу, хромой ты черт... – Он улыбнулся, и улыбка с трудом, казалось, втискивается в окаменевшие за время болезни черты его лица.

– Ну вот! – с удовлетворением откликнулся Стенар. – Я же говорил – один глаз останется. Скоро привыкнешь и будешь им видеть, как раньше двумя.

Унерад поднял руку и слегка притронулся к брови над поврежденным глазом. Веко тоже было разорвано стрелой и едва поджило, прикрывая пустое углубление. Вид у него был ужасный, но соратники смотрели с восхищением, как на вернувшегося с того света.

– Я теперь как лихо одноглазое... – пробормотал он.

Затем обернулся к людям в избе и сразу заметил двух женщин: одна помоложе, другая постарше – похожие, как сестры, – они стояли с двух сторон от него и с напряженным вниманием не сводили глаз с его лица.

– И которая же... – Унерад слегка улыбнулся, – из вас невеста моя будет?

– Твоя молодая, – Стенар кивнул ему на Обещану. – А тетушка мне больше в версту¹⁴.

И приобнял Медвяну, будто собрался ее увести. Медвяна засмеялась, освобождаясь. А Обещана опустила глаза: взгляд единственного ныне Унерадова глаза смущал ее своей настойчивостью.

Убедившись, что Унерад не ослеп, все вздохнули с облегчением. А Обещана с каждым днем все с большим нетерпением ждала, как же решится ее судьба. Ведь ее увозили из Драговижа как заложницу, а потом держали как посмертную супругу для Унерада, если Навь его позовет. Но Укром и вся волость выплатили дань, Унерад выздоравливал. Русы больше не вправе держать ее здесь.

¹⁴ В версту – равня.

В следующий свой приезд Воюн застал Унерада сидящим под навесом избы, где тот дней десять перед этим лежал больной, и обрадовался этому немногим менее, чем если бы молодой киянин приходился ему родным сыном. Теперь только поврежденный глаз его был закрыт повязкой, а второй, вполне здоровый, наблюдал за упражнениями отроков.

– Будь цел, боярин! – Гость поклонился. – Воюн я, Благоунов сын, из Укрома, – пояснил он, понимая, что внешность его Унераду незнакома, поскольку при его прошлых приездах тот еще был слеп, а то и без памяти. – Дочь моя здесь у тебя в талях, сестра ходила за тобой.

– И ты будь цел. – Унерад окинул его пристальным, однако не вызывающим взглядом единственного глаза, но не встал, хотя гость годился ему в отцы. – Слышал я о тебе от моих людей. Ты в Укроме старейшина и волости старший жрец?

– Истинно.

– Ну, пойдем, потолкуем, – Унерад поднялся, придерживая на плече наброшенный дорожной кожух на бобрах.

Будишу послали за Болвой, и с ним вместе пришел Молята. Бергтур был со своими отроками на лову. Всякий день Обещана слышала разговоры между боярами русов, что-де долгая остановка им очень вредит, они проедают собранные запасы, и когда все дружины вернутся в Киев и станут сравнивать, кто больше набрал, они опозорятся перед остальными.

Теперь, когда Унерад поднялся и мог – как он уверял – хотя бы часть дня находиться в седле, отъезд по Моравской дороге на восток стал делом одного-двух дней. И потому судьба Обещаны должна была решиться не сегодня-завтра. Ее вновь затрясло от волнения; она хотела даже уйти из избы, но взглянула на Медвяну и устыдилась. Зелейница сидела у двери, с видом скромным, но достойным, будто была на месте в собрании киевских мужчин. И Обещана присела с нею рядом, лишь тайком покусывала губу.

Когда ее приезжали сватать за Домаря, она и то волновалась меньше!

– Ну, человек добрый, рассказывай, с чем приехал! – с видом радушного хозяина предложил Болва, когда все расселись.

Боярин Болва, как уже поняла Обещана, был самым большим человеком в этой стае, не столько по родовитости – по этой части с Унерадом тут было некому тягаться, – сколько по близости к Святославу. Болва со всяким держался радушно, хотя в этом радушии Обещана чувствовала нарочитость, неискренность. Серые глаза его были прохладны, он будто бы от всякого ожидал подвоха, и приветливость его истекала не от сердца, а от убеждения, что этим вернее расположишь к себе людей и легче устроишь дела. Прочие русы относились к нему с почтением, но любили больше Бергтура, простого и дружелюбного. Обещане было жаль, что старика сейчас нет.

– Вижу, что боярин Унерад Вуехвастич почти здоров уже, – начал Воюн.

Ему было никак не выговорить северное имя Вуефаст, и в его устах оно звучало так, будто происходило из слов «вуй» и «хвастать». Но никто из киян даже не улыбнулся: они к этому привыкли, и многие русы сами нарекали детей Прастенами, как это звучало в устах славян и славяноязычных русов третьего-четвертого поколения, а не Фрейстейнами, как это было в Северных странах.

– Попросить хочу о дочери моей, – Воюн бросил короткий взгляд на Обещану. – Зелейница, сестра моя, что могла, то сделала, теперь жить боярину еще сто лет. Дань вы с наших волостей собрали, и за нами, укромскими, долга ни веверицы нет. Отпусти дочь мою, боярин. Вдова она горькая ныне, ты уж ее не обидь, отпусти в дом родной, к матушке под крыло. А я богов буду молить за тебя до самой смерти.

Русы помолчали, переглядываясь. Это молчание так давило на Обещану, что она невольно все ниже опускала голову. Яркие и пышные уборы молодухи она уже сняла и сидела в сером платке поверх повоя; этот старушечий плат, обрямляющий такое юное лицо, будто кричал о несправедливости судьбы.

– Когда мы брали виру с Драговижа, мы посчитали эту женку в уплату их долга, – заговорил Молята.

– Глаз мой теперь никакими гривнами не вернуть, – проворчал Унерад.

– Это немалое увечье, – Болва значительно поднял брови. – И раз никто не знает, чья рука выпустила ту стрелу, платить за него виру должен весь Драговиж.

– Когда та стрела была пущена и ты получил увечье, мой зять был уже мертв, – указал Воюн. – Твои же люди это подтверждают. Моя дочь уже была вдовой, когда твои люди увезли ее из Драговижа. У нее нет детей, ее ничто не связывает с родом мужа. Она возвращается ко мне, в Укром. А Укром все выплатил сполна. Она принадлежит Укрому и должна туда воротиться, раз уж уговор наш, – он кивнул на Медвяну, – выполнен.

– Она останется у нас, – буркнул Молята, будто отсекая все доводы.

– Да как так – остается? – Воюн нахмурился. – Вы, когда ее уводили, говорили, что отпустите через три... когда дань возьмете с Укрома и волости нашей. И она, и мужи драговижские подтверждают. Дань собрана. Что вам с нее? Неужто ваше слово ничего не стоит?

– Я хотел сделать все тихо и мирно! – яростно воскликнул Унерад. – Никто не посмеет сказать, что я искал напрасной крови! Я сказал: не противьтесь, и все будет хорошо! Но твой клятый зять, ее клятый муж, не хотел послушать доброго совета! Он принес топор и подбил свою ораву напасть на нас! Какого лешего он это сделал! Сидел бы тихо – и сам был бы жив, и жена была бы на свободе!

Первая радость выздоравливающего, что выжил и не потерял зрение полностью, у него уже прошла. Зато теперь Унерад осознал свою потерю: он окривел, и этого никакой зелейник не поправит. Даже на царьградском торгу ему нового глаза не купить. Раньше он был весьма хорош собой, и при своем высоком роде мог выбирать любую, хоть самую лучшую невесту в Киеве – потому и оставался до сих пор неженатым, что сделать выбор при таком богатстве никак не мог. Но теперь это в прошлом. В двадцать с небольшим он оказался искалечен, изуродован. В иных отношениях уподобился старикам, что уже частью находятся на том свете, и утратил иные права знатного человека: к примеру, ему больше нельзя было участвовать в принесении жертв. Не зная, кто выпустил ту злополучную стрелу (Воюн тоже не сумел это выяснить, в Драговиже никто не сознавался), Унерад сосредоточил свою злобу и досаду на Домаре, зачинщике драки.

Воюн молчал, меняясь в лице. Не так чтобы он одобрял решение покойного зятя, но понимал его. Попади ему самому сейчас в руки топор... нелегко было бы одолеть искушение немедленно освободить дорогую ему женщину, вырвать дочь из рук чужаков, чтобы она не оставалась среди них ни мгновения больше.

– Выкуп назначьте, – попросил он наконец. – Я соберу...

– Пойми, старинушка, – Болва наклонился ближе к нему. – Мы не можем оставить ее ни в Укроме, ни в Драговиже. На сей год вы дань выплатили. Так ведь будет новый год. И новая дань. Какая – это князь решит. До следующей зимы уведомит вас. Ты человек родовитый, уважаемый. Твоя дочь пойдет не в челядь, а в таль. Поверь мне, это гораздо лучше. Ее не продадут за Греческое море или сарацинам за Гурган, она будет жить в Киеве... почти как свободная женщина. А ты будешь сидеть здесь и следить за тем, чтобы твоя волость готовила дань к сроку.

– И чтобы больше ни одному угрызку не пришло в голову нападать на наших людей, – добавил Молята.

Воюн обвел глазами лица русов, будто еще надеялся найти поддержку. Но ответил на его взгляд только Стенар: молча постучал указательным пальцем по среднему на другой руке – там, где раньше было кольцо Етона, теперь сидевшее на пальце Унерада. Словно напоминал: за ее жизнь ты расплатился, вручив нам ее судьбу.

– Я... не смирюсь с этим, – сказал Воюн и встал. – У нас, бужан, свой князь имеется. Етон в Плеснеске.

– Ты вольный человек, – Болва тоже встал. – Ищи поддержки у твоего князя. Этого тебе никто не запрещает. А Святослав разберет вашу жалобу и вынесет решение.



Часть вторая

В Плеснеске, стольном городе земли Бужанской, Лют Свенельдич бывал много раз и неплохо его знал. Правда, не любил: ни в каком другом городе его не пытались столько раз убить, но так уж, видно, суденицами напрядено. В течение десяти лет он раз за разом приближался к широкому холму, где высился упрятанный за крепкими стенами многолюдный город, с одной и той же мыслью: как там Етон? Жив ли, говядина старая? Все знали повесть о том, как сам Один лет шестьдесят назад пообещал Етону три срока человеческой жизни, но никто не ждал, что именно так и будет. Мы ведь не в саге, а нынче не древние времена.

Но сейчас Лют приближался к знакомому холму с другой стороны – не с востока, а с запада, отчего сам город казался новым, – и с совершенно другой мыслью.

– Вот сейчас приедем – а его там нет, – заговорил едущий рядом с Лютом Торлейв, его девятнадцатилетний родич, приятель и спутник. Видимо, он по пути думал о том же.

– Как это – нет? – Лют обернулся к нему. – Нави назад унесли?

Подмораживало, и от разговора перед лицом клубился белый пар.

– Истовое слово! – горячо согласился Торлейв. – Что не человек то был, а морок. Я его своими глазами видел, а все не верю. Не бывает так! Не вылезают люди живыми из могилы!

– Приедем – посмотрим, – хмыкнул из саней старший боярин-посол, Острогляд. К середине пятого десятка лет он растолстел и ехать предпочитал лежа. – Если его черти унесли, мы плакать не станем. Да, Свенельдич?

Лют только хмыкнул, потирая щеку варежкой. В саксонских землях им приходилось бриться по местному обычаю; после выхода оттуда бороды у них уже отросли, но он еще чесался по привычке. Киевских послов надоумил Радай, старый знакомый Люта, что много раз бывал в землях короля Отто и знал тамошние порядки. «Вы бороды лучше обрейте, – посоветовал им Радай еще в Плеснеске. – У саксов бороды только короли носят и иные князья владетельные. Вас с бородами увидят – или за князей примут, или сочтут, что вы греческий обычай соблюдаете, а они греков не жалуют, отступниками от истинной веры полагают». Лют и сам помнил, что торговые гости из саксов и баваров, которых он всякую зиму встречал в Плеснеске, не носят бород. В юности он было принимал их за скопцов – как в Греческом царстве, где только скопцы безбороды, – но потом Ландо и Хадрат, люди Генриха Баварского, ему растолковали: восточные франки (к коим теперь причислялись и саксы с баварами) бреют лица и обстригают волосы по обычаю римлян. Подумав, послы согласились: глупо являть перед двором Отто свою приверженность «греческому обычаю», когда приехали просить римской веры.

Отчего Лют не любит Етона, а Етон не любит его, знал весь белый свет. Но, как нынешний муж бывшей Етоновой жены, Лют знал самую главную тайну Етона, известную, кроме него, еще очень немногим.

Тот рослый парень, что вылез из могилы убитого на поединке князя Етона, тот, что сидел сейчас в Плеснеске на Етоновом месте – вовсе не был погибшим и ожившим, старым и омоложенным Етоном, Вальстеновым сыном. Это был совсем другой человек, с Етоном, судя по всему, даже в родстве не состоящий, и имя отца своего он не смог бы назвать за все сокровища царьградского престола. Потому Лют точно знал: это не морок, и черти так просто его не унесут. Им придется помочь. И если бы открылся к тому приличный способ, он, Лют Свенельдич, себя бы трижды просить не заставил.

В былые годы Лют и его товарищи, въехав в Плеснеск, сразу направлялись на знакомый гостиный двор к морованину Ржиге, а уж там узнавали новости и готовились посетить князя. Теперь и это изменилось. Трое бояр – Острогляд, Лют Свенельдич и Одульв Иворович – возглавляли две сотни оружников и торговых гостей, присоединившихся к ним в поездке до Франковурта. И размер дружины, и положение их требовали послать весть о себе и дожидаться

приглашения в город. Поэтому последнюю ночь они провели в какой-то веси, не доехав до Плеснеска всего поприщ пять. В шести дворах все разместиться не могли, поэтому спали под крышей по очереди, а остальные грелись у костров на выгоне. Несли дозор. Однако ночь прошла спокойно, а утром прибыли люди: князь-де Етон приглашает бояр киевских к себе. Теперь его забота была предоставить им пристанище.

Когда впереди показались полузарытые в землю избы предградья, Острогляду подвели его нового угорского жеребца и он, покинув удобную лежанку в санях среди медвежьих шкур, с кряхтением забрался в дорогое хазарское седло. У ворот предградья послов уже ждали: здесь был Безрад, брат плеснецкого воеводы Семирада, и с ним десяток отроков. Поприветствовав киян, тот поехал впереди. Дорогу они знали немногим хуже, но так полагалось. Впереди дружины знаменосец вез на высоком древке «увенчанного сокола» – личный стяг Эльги, с тем же изображением птицы, что и на ее ногах. Трубили рога. Жители наблюдали за проездом посольства от своих ворот и домишек, но особого оживления не наблюдалось. Взгляды, однако, были недобрые: настороженные, опасливые. За последний год бужане изменили отношение к киевским русам. Раньше это были соседи и соперники, на которых здесь было принято смотреть свысока: волынские русы утверждали, что пришли сюда на сто лет раньше, чем Олег Вещий – в Киев, а волыняне до сих пор попрекали полян хазарской данью. Теперь же, когда земля Бужанская подчинилась земле Русской и оказалась сама обязана платить ей дань, высокомерное соперничество сменилось ненавистью.

Дружина посольства из множества людей, лошадей и саней заняла не только весь въезд на гору, но и пустырь перед ним. Задние сани оставались еще внизу, когда трое послов, позади своих телохранителей, с трубачом и малым Святославовым стягом уже въезжали в ворота княжьего двора. Здесь их ожидал перед крыльцом воевода Семирад, готовый принести послам обычное приветствие. Держался он учтиво, но на Люта бросил тяжелый взгляд – помнил прошлую зиму.

В Етонову гридницу первым вступил Острогляд – как самый старший и наиболее родовой из троих послов. Он происходил из старинного полянского рода, а женат был на Ростиславе Предславне, родной внучке Олега Вещего. По бокам его, на полшага сзади, шли Лют и Одульв – самый цвет дружинной Руси, сыновья и внуки прославленных киевских воевод. Все трое были одеты в кожаные из дорогого меха, покрытые еще более дорогим цветным греческим шелком, подпоясаны поясами в серебряных бляшках. На плечевой перевязи у каждого висел меч-корляг с золоченым или серебряным набором. С оружием к князю входить не полагалось, но эти мечи были знаком достоинства послов.

Едва войдя, Лют сразу отметил: сколько же здесь народу! Послы шли между двумя рядами бужан – бояр и отроков Етона. Иные из них были в кафтанах, иные в крашенных верхних, а некоторые – в суконных насовах, какие носят старейшины земледельческих селений. Этого народа Лют здесь прежде не встречал. «Вече у них, что ли?» – мельком подумал он. Вдруг наткнулся на взгляд одного из таких «насов» – некий средовек смотрел на него с вызывающей ненавистью, будто признал кровного врага. Но среди бужан у Люта таких врагов не было – это же не древяне. Зачесалась зажившая прошлогодняя рана на правом плече.

Но вот три посла приблизились к княжескому престолу. Етон-молодой высился там, выпрямившись во весь немалый рост, и оттого было сильнее заметно несходство с Етоном-старым, который в последние годы уже сидел скрючившись, будто длинные кости не помещались в усохшем теле. Его лицо – не особо красивое, с крупными грубыми чертами, могло быть привлекательным лишь благодаря его юности: нынешнему князю бужан было лет двадцать, и рыжеватая бородка пустила лишь первую поросль на нижнюю половину щек и подбородок. Хотя едва ли даже он сам, лесной найденыш, мог сказать, сколько точно ему лет. На нем был памятный кафтан – с красновато-бурыми греческими орлами, который Етону-покойнику дали

с собой на тот свет и в каком новый Етон вышел из могилы. На лице застыло горделивое, надменное выражение.

– Присядьте, мужи киевские, – ответив на приветствие Острогляда, Етон указал послам на скамью напротив своего сиденья. – Сейчас нам подадут кое-что поесть и выпить, и хотелось бы о вашем путешествии к Оттону послушать. Он же принял вас? Вы его видели?

Несмотря на попытки хранить приличную владыке невозмутимость, на подвижном лице Етона отражалось волнение, смутная надежда, что кияне потерпели неудачу. Каковы бы ни были цели союза Эльги киевской и Отто саксонского, бужанам он ничего хорошего принести не мог.

– Съездили не напрасно, – важно кивнул Острогляд, усевшись посередине, ровно напротив князя. – Не попусту съездили, это да.

Перед ними поставили стол, ключница накрыла его белой скатертью, переставила с подноса три серебряные чаши – разные, неодинаковой величины и с отделкой то резьбой и позолотой, то чеканкой и самоцветами. Самая большая назначалась Острогляду, старшему послу. Внесли несколько блюд с соленой рыбой, копченым мясом, свежим белым сыром. Молодая челядинка подала Етону коровай на подносе, покрытом рушником, и он неловко разломил его своими длинными крупными пальцами, чтобы послать гостям их долю, а вместе с тем свое хозяйское благословение. И хотя Лют разделял с «могильным выползком» хлеб безо всякого удовольствия, приходилось терпеть: с этим хлебом он принимал от хозяина обещание достатка и безопасности под его кровом, а покон гостеприимства не нарушит даже песий сын.

Кроме челядинок, женщин в гриднице не было: Лют убедился в этом, быстро глянув в дальний конец, где при старом Етоне стояла женская скамья. Год назад там появился престол для княгини, и на нем-то он впервые увидел Величану... Невольная улыбка коснулась его жестко сомкнутых губ при мысли о том дне – он казался и близким, и далеким. Как много с тех пор изменилось! И хотя Лют был всей душой рад, что Величаны больше нет в этой гриднице и никогда не будет, тоска по ней заставляла жалеть, что он увидит ее еще так не скоро.

– Женок-то попрятал, – Одульв наклонился к нему за спиной Острогляда. Он говорил на северном языке, который, как они надеялись, здесь понимали плохо. – Боится тебя!

– Попрекнуть нас хочет, – ответил обоим сразу Острогляд, слышавший шепот у себя за спиной. – Дескать, умыкнули жену, теперь вам рог подать некому.

Лют хмыкнул:

– Обойдемся без его баб. Мне моя княгиня дома рог поднесет! А вот он пусть-ка поищет себе другую такую!

– Да уж, такой княгини, как Адельхейд, Етону днем с огнем не сыскать, – отчасти мечтательно сказал Одульв.

– Кто ж ему такую даст!

Одульв вздохнул; Острогляд ухмыльнулся и пихнул его в плечо. Знакомство с Адельхейд, Оттоновой королевой, озарило ярким светом их долгое, более чем полугодовое путешествие, и они часто ее вспоминали.

Но тут челядь закончила накрывать стол и больше не загораживала послов от князя. Острогляд чинно сложил руки перед собой. Все шло по обычаю: чаши за хозяина – плеснецкого князя, за киевского князя и его мудрую мать, за гостей, за дедов, за мужей плеснецких и бужанских. Етон первым поднимал чашу, потом старик Чудислав – старший плеснецкий жрец, потом Острогляд, потом два других посла и люди Етона. Все это было знакомо и привычно – хотя после пиров в каменном королевском дворце, где перед трапезой читали молитвы поллатыни, и казалось по-новому странным. Лют скучал бы, если бы не видел, что самому Етону этот порядок долгого приема досаждал куда сильнее. Князя плеснецкого томило нетерпение, но он не мог раньше времени приступить к расспросам.

– Рассказывайте же, не томите, – попросил Етон, когда с застольным обрядом было покончено.

На его подвижном лице было просительное выражение, но в глазах отражалась затаенная недоброжелательность. Етонова повадка приводила Люту на ум лукавого волчонка или щенка-подростка: высокий и худощавый, с длинными руками и ногами, он вроде бы заискивал перед тем, кто старше и сильнее, и при этом тайком выбирал случай вцепиться зубами в бок. Признав себя подвластным Святославу киевскому, Етон был вынужден держаться с его людьми учтиво, но доброжелательность его не обманула бы и более доверчивых людей – уж слишком явно за нею сквозила досада и тайная злоба. К тому же воспитан он был далеко от княжьей гридницы и до сих пор смотрелся чужаком, который из озорства натянул княжий кафтан и забрался на престол.

– Где вы видели Оттона? – расспрашивал он.

– Видели мы его в городе Франконовурте, стольном граде восточных королей – так они себя зовут, ибо владеют землями восточных франков и немцев, – с важностью принялся рассказывать Острогляд. – Пестряныч, – он глянул на Торлейва, который стоял среди телохранителей ближе к дверям, – подскажи, как они себя величают?

– Рекс франкорум ориенталиум, – четко выговорил Торлейв, старательно сдерживая улыбку. – Король Восточной Франкии.

– Это по-каковски? – удивился Етон.

– По-латынски. У них там ученые люди латынскую речь понимают и грамоту даже. Ну, в Руме так говорят, – пояснил Острогляд, видя, что это объяснение Етону ровно ничего не объясняет. – Греческий тоже понимает там кое-кто, но мало таких. Наш Пестряныч у короля мужем великой учености за то почитался.

Кияне улыбнулись, гордясь своим молодым товарищем. Торлейв по виду ничем не отличался от других отроков, но родился он в хазарском Корчеве; в челяди матери, которую она несколько лет спустя привезла в Киев, были хазары и греки, так что Торлейв еще с детства бойко изъяснялся по-гречески и по-хазарски. Позднее ключница-гречанка, Акилина, женщина непростой судьбы, научила его греческой грамоте. Братанич самой княгини Эльги, Торлейв, и без того заслужил бы хорошее положение, но знание языков обеспечило совсем молодому парню участие в важных делах с иноземцами. От болгарина Ригора он выучился и моравскому письму и в свои девятнадцать лет стал без шуток одним из ученейших людей в Киеве. За несколько месяцев во Франконовурте Торлейв начал кое-как понимать и по-немецки, и по-латыни; при Оттоновом дворе нашлось немало желающих беседовать с ним, поскольку в царстве латинской учености греческий язык считался роскошью, мало кому доступной.

– Сказывают тамошние люди, будто Карл Магнус был на войне в земле германской, спасался от врага сильного и не мог реку перейти, – продолжал Острогляд. – Тут вышел из чащи олень и по броду на другой берег пошел. Так за ним войско Карлово все перешло невредимо. В память о том повелел Карл поставить близ того брода двор себе и город построить. Ныне город сей велик и богат, стенами из камня и рвами глубокими обведен. Стоит там высокий остров, на острове твердыня, королевская усадьба из камня, и церковь большая, прямо как в Царьграде самом, только вот украшено не так хитро. Живут в нем издавна короли, и лучших мужей своих со всей земли туда собирают на совет, и церковных мужей тоже. Украшен он дворцами, палатами, церквями и монастырями. Мы, пока королевского прибытия ждали, не раз все это осматривать ездили.

– И долго ждали? Чего не принимал вас? – любопытствовал Етон. – Недосуг было?

– Когда прибыли мы, самого Оттона дома не случилось – уехал он на войну, с полами воевать. Ждали мы его в тех палатах до самого листопада месяца. Зато была дома жена его, королева Адельхейд, и она принимала нас и не раз ласковые и мудрые беседы с нами вела.

Лют с трудом удержался, чтобы не покоситься на Одульва. Острогляд ничуть не преувеличил: с королевой Адельхейд они виделись несколько раз. Эта женщина была прославлена среди восточных франков не менее, чем Эльга – на Руси. Прежний Етон при упоминании Оттоновой королевы уже верно отпустил бы некое ехидное замечание... но напрасно Лют вглядывался в глаза Етона нынешнего – в них отражалось только любопытство. После своего возрождения Етон не знал очень многого из того, что было ему известно до смерти...

– Король с войны воротился к самой Коляде, то есть к Рождеству Господню, – рассказывал Острогляд. – Принял нас хорошо. Грамоту нашу взял и дал ответ: дескать, сам Бог всемогущий на него, Оттона, возложил долг заботиться о вере Христовой и всем народам ее нести. Таковое дело сам Карл Магнус всем своим потомкам и наследникам завещал. Призвал Оттон к себе мужа одного ученого и честного, именем Либуций, и повелел архиепископу прямо там, во Франконовурте, того монаха поставить епископом для Руси.

– Где же он? – Етон бросил взгляд на киевских телохранителей и купцов, слушавших беседу стоя, ближе к двери. – Вы не привезли его?

– Не готов он еще в дорогу. Епископу собраться – не просто подпоясаться. Надобно ему книги богослужебные отыскать или же начертать велеть, сосуды приготовить, покровы и все иное, что для службы богу потребно. Мощей святых отыскать, чтобы на Руси церкви ставить. Других мужей добрых сыскать и к себе призвать, чтобы их священниками поставить. Это все дело долгое.

– Когда же он приедет к вам?

– Обещал поспешать, как сумеет, а то сказал, на все воля божья, – Острогляд развел руками. – Ну да Оттон нам слово свое дал и богом поклялся, что обещанное исполнит, и в подкрепление послал некие дары княгине нашей Эльге.

Видно было, что Етон очень хочет спросить про дары, но не смеет, а Острогляд хранил важный вид, не собираясь раскрывать все свои тайны.

– Ладно, не буду вас томить долго, – сказал Етон. – Для вас уж и баня, и отдых приготовлены, ступайте. Как отдохнете, еще побеседуем. Многое мне любопытно. А может, и сам кое-какие весточки в Киев с вами отправлю.

Проходя мимо скамьи, где сидели нарочитые мужи плеснецкие, Лют вдруг заметил знакомое лицо. Скуластый русобородый мужчина примерно его лет не отрывал от него тяжелого взгляда. И Лют заставил себя улыбнуться, будто в ответ на самое дружеское приветствие. Он знал, что его улыбка больнее ранит давнего знакомого, чем самое жестокое проклятье.

* * *

Когда Летава возвратилась домой, и муж, и гости с нетерпением ее ждали.

– Ну? – Берест встал со скамьи, едва она вошла. – Видела их?

– Приходили все трое бояр, и с людьми своими, с оружниками и с купцами, – Летава сняла кожух и повесила на вбитый в щель у двери крюк, вырезанный в виде головы утки. – Барашка принесли. Мне бабка хороший кусок отдала – возьми, сказала, покорми гостей твоих, все им утешенье! – Она усмехнулась. – Я Добычихе оставила, к ужину велела зажарить. Хороший барашек. У Коланца они купили сразу пяток.

– Так чего им для богов жалеть – они люди не бедные, – хмыкнул Берест. – Весь белый свет ограбили, данью обложили – у них серебра, что звезд на небе!

– Девицу, значит, не просили у Етона для жертвы? – подхватил гость, Плетина из Драговижа. – Что же так поскромничали? Прямо не узнаю киян.

В Плеснеск укромичи отправились почти сразу после того, как Унерадова дружина ушла с Горины на восток. Здесь они намеревались искать правосудия и защиты у князя Етона – живой он или мертвый, а его прямой долг защитить своих людей от грабежа и поношения!

Приехали целой дружиной: Воюн с семьей родичами, Плетина с родичами, люди от иных городцов Укромской волости. Ехали пять дней, а прибыв на место, застали в Плеснеске множество народу, собравшегося с той же целью: пожаловаться на насилия русов и потребовать защиты. Пристав на гостинином дворе, гориничи в первый же вечер наслушались пугающих сказов. То же, что у них в волости, в эту осень и зиму творилось по всей земле Бужанской. Кое-где обошлось еще хуже: передавали, что два или три городка вовсе были сожжены, хорошо, если не вместе с жителями. У бужан появился новый хозяин и сразу дал понять, что с ним шутки плохи.

Омоложенный князь Етон принял укромичей ласково, но ничего утешительного сказать им не мог. После поединка минувшим летом на всех бужан легла обязанность платить дань Святославу киевскому. Вину в том, что их не собрали и не обсудили с ними это дело, Етон целиком перекладывал на Святослава: тот не желал терять дань даже за один год. Плетина жаловался на убийство сына, Воюн – на увод дочери, и Етон соглашался, что это дело необходимо рассудить. Но для этого требовалось присутствие виновных, то есть людей Святослава.

И вот они появились в Плеснеске – три посла, вернувшиеся от короля Оттона, значит, киевские мужи из числа самых знатных. На второй день после приезда они отправились с жертвами на Божью гору: чтобы боги хранили их на земле Бужанской и помогли благополучно достичь родных своих краев, до которых оставалось еще полмесяца пути. Мужички хорошего рода, опытные и наученные вежеству, кияне не тянули с жертвами и взялись за это сразу после бани. Теперь, когда жертвы были принесены и приняты, кияне оказались под покровительством не только князя, но и самих богов. Любопытно, кто вздумал бы причинить им вред, стал бы врагом князя и всех бужан. Такая их расторопность причиняла Бересту сильную досаду, хотя тяжелый опыт его научил: дела мести с наскоку не делаются.

– Пойдем завтра же, Воюня, спросим с них наши обиды! – восклицал Плетина. – Пусть князь рассудит! Требовались ему Святославовы люди – так вот они тут!

– Лучше этих не сыскать, – бросил Берест. – Они к князьям киевским самые близкие. Родичи даже. Я этого, который в брусничном кафтане был, много лет уже знаю. Он киевского воеводы младший брат, и с Ольгой они в свойстве.

Летава тоже узнала человека, о котором говорил Берест. Первая попытка Береста отомстить Свенельдичу-младшему, предпринятая десять лет назад, и свела ее с будущим мужем. Она хорошо понимала, почему Берест не хочет даже имени его произнести. Сев у стола, Летава опустила руки на колени и устремила на мужа взгляд, в котором сожаление мешалось с тоской. Она все еще любила его – сама не зная, чем ее так пленил этот неразговорчивый, довольно угрюмый парень, оставшийся без родни, без дома и только с тем богатством, что было на нем надето в то давнее осеннее утро, когда Лют Свенельдич разорил его родной город Малин. Она надеялась, что со временем озлобленность и тоска пройдут, но нет: жажда мести так и осталась его главным стремлением. В то давнее утро Берест, внезапно лишившись всей родни, словно родился заново. За несколько дней он стал сам себе род, сам себе отец и глава. С тех пор он не знал иной цели и другой мечты, кроме как вернуть отнятую киянами мирную жизнь. Но давно заросли лопухами и бузиной заброшенные малинские избы, скрылся под высокой травой родовой жальник близ вымершего поселения. Здесь, в Плеснеске, у Береста имелся новый дом, жена и трое детей; теперь он принадлежал к уважаемому роду Бегляновичей, что состояли, через Летавину бабу Бегляну, в родстве с самим Етоном. К Бересту Бегляна благоволила, Летава по-прежнему помогала ей в святилище. Берест работал в кузнице, чему учиться начал еще дома, при отце, и порой сам ездил с товарами в землю Деревскую – после разорения десять лет назад там ощущалась нехватка хороших изделий. Летава оставалась красивой, лишь потеряла после родов пару зубов. У них было три коровы, овцы, свиньи, птица, челядь. Ни в чем семья не знала нужды: ни в имуществе, ни в уважении. Но сам Берест жил будто в чужом доме, мысли его стремились, как птицы в Иррий, к новым сражениям с ненавистной киевской Русью.

Когда в Плеснеске появились укромичи, он позвал Воюна с ближиками поселиться у него. У них была с ним общая месть, а потому он видел в них братьев.

На другой день Воюн, Плетина с двумя родичами и с ними Берест отправились на княжий двор. К концу третьего десятка лет Берест возмужал, раздался в плечах, обзавелся окладистой русой бородой. Если бы Лют в минувшие годы не видел его в Плеснеске, то мог бы не узнать того чумазого, осунувшегося парня, бежавшего из дома в лес в одной сорочке.

Сам Лют Свенельдич в глазах Береста тоже изменился мало. Лют тоже стал крепче и шире в плечах, немного даже подрос, хоть брата не догнал и остался среднего роста; лицо его в двадцать семь лет утратило былую свежесть, ореховые глаза смотрели с прищуром из глубоких глазниц над острыми скулами, резче обозначились на загрубевшей коже складки между носом и углами рта, на высоком покато лбу проступили тонкие продольные морщинки. Но годы прошли для него не напрасно, принесли опыт и уверенность в себе. Весь облик его теперь источал спокойное мужество; неторопливая повадка, малоподвижное лицо внушали впечатление, будто под кожей он весь железный и его оружие не возьмет.

Киевские бояре с ближней дружиной жили в большом гостевом доме на княжеском дворе – в том, где Лют за последние десять лет бывал не раз и знал каждую лавку. Здесь он когда-то прошел обряд имянаречения меча – каждый раз он вспоминал тот вечер, когда видел это место у очага на земляном полу. А заодно вспоминал и Береста, который именно в тот вечер пытался его убить. И, судя по первому взгляду, которым они обменялись, в этом стремлении Берест остался прежним.

С утра Лют с Одульвом сходили проведать своих лошадей, а в полдень их позвали к Етону. Войдя в гридницу, русы снова застали здесь внушительное собрание. На скамье сбоку от престола сидели пятеро мужчин, и в одном из них Лют признал Береста из Малина. Остальных он не знал, но «горевые сряды»¹⁵ на них настораживали.

– Надобно дело разобрать, – начал Етон, когда все уселись. – Вот, люди ко мне пришли, бужанские мужи. Говорят, обидели их кияне. Хотят ответа спросить.

– Какие такие русы их обидели? – Острогляд положил руки на толстые колени и наклонился вперед.

– Святославовы люди. И я, как земли Бужанской князь и отец, дело обязан рассудить.

Острогляд ухмыльнулся в кудрявую бороду, в которой нити первой седины на щеках придали внушительности: длинный нескладный Етон с его лицом недоброго щенка мало походил на отца какой бы то ни было земли.

Приглашенный изложить свое дело Плетина принялся рассказывать. Убив в тот первый день Домаря и еще четверых молодцев, русы на другой день вернулись, уже всей своей дружиной, и забрали в возмещение своих двоих покойников и Унерадова увечья по десятку отроков и девок. Трое киян слушали с невозмутимыми лицами; Одульва и Люта с самого начала подмывало возразить, но Острогляд малозаметными движениями призывал их к молчанию.

Бужане и кияне говорили одним языком, но всякий, кто увидел бы их, сидящих напротив друг друга, сразу понял бы: это люди совсем разной породы. Бужане в старинных насовах, с ткаными поясами, полные решимости отстоять древний родовой покон, по которому жили они, их отцы и деды. Лишь смертельная угроза ему, основе всего их существования, могла сорвать их с места и выгнать из дома; если не случалось такого рода бури, подобные им рождались, проживали жизнь и умирали, передав имена внукам, в той же волости, не имея никакой надобности хоть раз в жизни покидать угодья, «где дедов топор ходил». Там были их нивы и родовые жальники, белый свет и Навь, все мироздание в пределах дня пешего пути. И русы-кияне – в греческих кафтанах, с хазарскими дорогими поясами, с рейнскими мечами-корлягами, дети

¹⁵ «Горевая сряда», иначе «печаль» – траурная одежда, носимая в знак скорби после смерти кого-то из близких, белого цвета.

смешанных кровей, чьи бабки и деды рождались очень далеко друг от друга. Все они с юных лет привыкали к странствиям, бывали от Ладоги до Царьграда, от Волги до Франконовурта на реке Майне. За ними стоял новый обычай, который творили они сами, и новая держава, имеющая целью идти вперед, к новым рубежам – все дальше и дальше, так что предел ей могла положить лишь теснота земного мира. Одни были подобны корням, уходящим в земную глубину, другие – перелетным птицам.

И никто еще не знал, чей уклад победит.

– А от нас ты чего хочешь? – спросил Острогляд, когда укромичи закончили. – Суровую вам суденицы долюшку направили, тут не поспоришь. Обидел тебя Унерад, Вуефастов сын. Надо тебе в Киев ехать и на него Святославу жаловаться. Мы тут не ответчики.

– Вы – люди Святослава, – возразил Плетина. – Он же вас в немцы посылал.

Здесь укромичи совершали ошибку – перед ними сидели не люди Святослава, а люди матери его Эльги. В Киеве каждый, да и в Русской земле многие знали, что это совсем не одно и то же. Люди князя и люди княгини составляли совсем разные дружины, занимались разными делами и стремились к разным целям. Более того – во многом они противоборствовали и не любили друг друга. Но послам хватало ума понять, что данникам об этом знать вовсе не нужно.

– Князь нас в немцы посылал с Оттоном говорить, – ответил Острогляд. – Отвечать за Унерада и Болву он не поручал нам. Поезжайте в Киев – хотите, так с нами вместе. Мы вас к князю отведем, там перед ним и объявите обиды свои.

– Только ничего они не получают со своих обид, – буркнул Одульв. – Кто первый за оружие взялся, тот и виноват.

– А вы, стало быть, не желаете за своих отвечать, – Берест вызывающе глянул на Люта.

– Мы дело знаем только с ваших слов, – ответил тот. – Без послухов с другой стороны обид разбирать нельзя, это вам любой старец скажет. Ведь так, Чудиславе?

Старик кивнул и слегка развел руками: все так.

– Ну, коли так, – Воюн встал и обратился к Етону, – повели, княже, нам в Киев ехать. Я мою дочь в беде не покину, голубку безвинную. Хоть за тридевять земель за нею поеду, коли о ней, кроме меня, отца, и порадеть некому.

– Дойдем и до Киева, – Етон кивнул ему. – Такой род, как ваш, в беде оставить нельзя.

– На тебя, княже, надеюсь. Ты слово давал быть ей вторым отцом, когда только родилась она на свет, и перстень свой княжеский в залог оставил!

На подвижном лице Етона явственно мелькнуло недоумение, но тут же он усилием воли, уже привычным, его подавил. С прошлого лета, когда он якобы возродился, ему нередко случалось удивляться, слушая о том, что с ним происходило в прежней жизни.

– А ведь гости наши сей повести не знают, – быстро найдя выход, Етон взглянул на киян. – Поведай им, старче, оно ведь любопытно.

Воюн принялся рассказывать: как семнадцать лет назад старый Етон оставил его дочери перстень и обещал прислать жениха, как он уже после смерти старика выдал ее за Домаря из Драговижа. Да только замужем ей не привелось прожить и полугода – пока однажды, в Полузимник, Унерад Вуефастич не пришел по дань...

Слушая, Лют поглядывал на молодого Етона, по лицу которого было видно: для него все это не менее ново, чем для киян.

– Эх... жаль... – задумчиво проговорил князь, когда Воюн закончил. – Сколько лет я... прежде... не мог навестить вас, повидать тебя и дочь твою... теперь уж я в силах... в гощение сам поеду на другой год. Да деву Змей в когтях унес за темные леса... Не печалься, старче! – Он ободряюще улыбнулся Воюну. – Слово мое княжеское крепче камня, это ты верно сказал. Вызволим дочь твою.

* * *

С этим бужане и отправились назад к Бересту на двор. Обещание княжеской поддержки подбодрило Воюна, но Плетина и его сородичи оставались мрачны. То, как быстро и буднично завершилась беседа князя с киянами, их разозлило и разочаровало. Берест был спокоен: его опыт борьбы с русью из Киева насчитывал десять лет, и он большого толка от беседы и не ждал.

– Ну, а ты как? – Когда все уселись обедать и разобрали ложки, Берест взглянул через стол на Плетину. – Тоже к Святославу поедешь милости искать?

– Что мне-то ехать, – с досадой бросил тот. – Сына моего он не воскресит. И виры не заплатит.

– Не заплатит. На другой год приедут к тебе опять по дань – ты им снова будешь должен.

Плетина сжал губы, чтобы не выбраться в чужом доме да за столом. Возразить было нечего. Сам Етон подтвердил: на будущий год русы снова придут по дань. И он, отдавший им жизнь сына и волю дочери, должен будет безропотно выложить на стол куницу.

– Конечно, – неторопливо прожевав кусок соленой рыбы, продолжал Берест, – если бы нашлись мужи и отроки неробкие, что без княжьего изволения, сами решились бы свой суд творить... Эти трое, – он кивнул в сторону княжьего двора, – бояре-то, не пустые ведь от немцев едут. Видал их обоз? Саней под сотню, а там небось чего только нет! Вино бочонками, соли, небось узорочья разного! Жеребцов ведут с два десятка, ты же видел? Сукна хорошего. Даже мечи рейнские могут быть.

– Ну и что?

– Поедут они восвояси по Моравской дороге. Вот я и говорю: если бы нашлось мужей храбрых десятка три-четыре...

– Да где таких удалыцов взять? – с недоверием спросил Плетина. – У киян отроки конные, оружные.

– А у вас будто оружия нет? Топоры, да копья, да луки. Вот наше оружие. Будет луков с два десятка – задний их дозор одним махом снимем, и вот она, добыча наша.

– Какой задний дозор?

– Смотри. – Берест отодвинул горшок с остывающей похлебкой и провел черенком ложки длинную черту по столу, обозначая дорогу. – Поедут они, допустим, через лес. Они как ездят? Здесь передовой дозор, здесь сани, сзади – еще люди. Если сосен либо елей толстых подрубить два-три ствола и сбросить, чтоб обоз на части рассечь, то иметь нам дело придется только с задним дозором. А в нем человек с десятков всего. Если умело выстрелить – положим на месте. Все задние сани тогда наши. И лошади их.

Оба старейшины смотрели на него с разным чувством: один с тревогой, другой с изумлением.

– Ты что, сват, взабьль хочешь в разбой податься? – недоверчиво спросил Воюн.

– А что же – спустить им смерть сына моего? – горячо ответил Плетина. – Чуры мне не простят. Хоть как, да посчитаюсь с ними. Может, повезет... и не куницами я долг мой возьму, а как полагается...

– Нет, вы погодите! – Воюн даже встал. – Как же я с ними тогда поеду? Я ж хотел в Киев ехать...

– Ничего ты в твоём Киеве не добьешься! – осадил его Плетина. – Гляди, сам еще воротишься ли живым?

– Так дочь моя там же! Да перебейте вы здесь хоть всех этих – дочери моей это поможет разве домой воротиться? Как бы ей хуже не было. Разозлится Святослав за ваш разбой – и ее сарацинам продаст. Нет, вы уж эти глупости оставьте. Нет моего вам согласия. Не удастся ваше

дело – даром головы сложите, а удастся – русов разозлите, на другой год Святослав придет и всю волость нашу выжжет, разорит, на дым пустит!

Плетина хотел возразить, но Берест, сидевший с той же стороны, тронул его под столом за колено. Он видел, что жреца не уговорить: привычка почитать покон и страх за дочь лишают его ратного духа. Другое дело – Плетина. Мир с русами не мог ему вернуть погибшего сына. Как и сам Берест, он жаждал посчитаться с обидчиками хоть как-нибудь. Но похоже, с Воюном им уже не быть заедино. А стало быть, и знать об их замысле ему незачем.

* * *

Берест и его гости удивились бы, если б услышали, как русы между собой бранят Унерада и Болву не меньше, чем это делали сами укромичи.

– Жаба ему в рот – возмутил, йотунов сын, всю Моравскую дорогу, а нам теперь здесь ездить! – ругался Одульв, вернувшись в гостевой дом и снимая дорогой кафтан. – Замужнюю бабу из дома у мужа на глазах уволочь – тут тебе не Купалии, а Радята уж не отрок! Известное дело, дань собирать тоже умеючи надо. А они со Сфеней и с Икмошей хренами меряются, кто больше наберет, перед князем выделяются, угрызки, а как людям после них через эти места ездить и свои дела делать – им нужды нет! Один глаз ему выбили! Поделом – могли бы и два выбить! Теперь придет к бужанам в посадники человек поумнее, так еще пять лет будет это все его дерьмо разгребать, чтобы здесь толком можно было что-то взять. А, Свенельдич? Я прав?

Одульв к началу четвертого десятка уже заметно облысел, но в остальном, довольно рослый, начавший полнеть, с ровным носом, серыми глазами чуть навывкате и красивой русой бородкой выглядел весьма представительно. Дорогое платье с отделкой греческими узорными шелками сидело на нем, как родная шкура. Не в пример Люту, который в цветном платье чувствовал себя не слишком ловко, хоть и шили ему это платье очень умелые руки.

– Мне здесь дани не собирать, – Лют слегка двинул бровями. – Етон меня ненавидит и жену мне до самой крады не простит.

– Ну, ты ж – иное дело, – Одульв осекся, сообразив, что упрек насчет уведенной жены можно отнести и к Люту. – Етонову жену отсюда Святослав отослал, а тебе княгиня отдала.

– Но что назад будем ехать, озираясь на каждый треск сучка – это верно. Благо буди тому мужику укромовскому, что упредил. Как поедем, я в замыкающий дозор два десятка поставлю, пожалуй что.

Вечером явился княжий отрок – позвать Люта к князю.

– Меня? – Лют привстал, удивленный. – Меня одного?

– Просит князь Люта Свенельдича. Для тайной беседы.

– Скажи, сейчас буду.

Под удивленным взглядом Одульва и вопросительным – Острогляда Лют неохотно поднялся и потянулся к стене за кафтаном. Потом замер.

– Не приодеть ли кольчугу? – ответил он на эти взгляды. – Чего угрызку от меня понадобилось на ночь глядя?

– Был бы он бабой... – хохотнул Одульв.

– Была бы на его месте Адельхейд, я бы бегом побежал. Но чего этому недобитышу от меня надо – ума не приложу.

Через княжий двор Лют прошел с тремя телохранителями – этого требовало достоинство его рода и положения. Кольчугу он надевать все же не стал, но четвертого своего телохранителя – меч-корляг с этим же именем – повесил на плечевую перевязь. В этот поздний час гридница была пуста: бояре и старцы разошлись по своим дворам. Етон ждал гостя, сидя у стола на верхнем краю. Перед ним на столе горел глиняный светильник с двумя плавающими в масле пеньковыми фитилями, стоял кувшин, две серебряные чаши, на блюде лежали куски

запеченной оленины, хлеб и белел сыр. Лют воззрился на это с удивлением: Етон был один, только Думарь, давний телохранитель еще прежнего Етона, привычно скорчился на ступенях престола, обняв длинными руками упертый в пол меч, и, похоже, дремал. Все выглядело как приглашение к самой дружеской, доверительной беседе. Но даже у Люта, не склонного впускать людей в душу, было мало знакомых, кому он доверял меньше, чем Етонову подкидышу.

В знак удивления подняв брови, Лют указал телохранителям на скамью у двери.

– Подходи! – Етон помахал ему, подзывая. – Троих товарищей привел – неужто боишься меня?

Он улыбнулся, показав крупные белые зубы. Одного снизу не хватало – потерял в превратностях своей лесной жизни, а между верхними передними виднелась щель – значит, и одного из дальних тоже нет.

Лют посмотрел на него в упор, держа брови немного приподнятыми – неужели не понимаешь?

– Положено мне так, – сказал он наконец. – Они по восемь гривен в год получают, чтобы везде со мной ходить.

– И в отхожий чулан тоже? – хохотнул Етон.

Видно, хотел задеть. Лют не ответил и даже не переменялся в лице. Хотя мог бы сказать: здесь – да, и в чулан. Будто мало достойных людей именно в этом укромном месте закончили свою жизнь на чужом клинке! А тот вдвойне умен, кто способен учитывать чужой опыт.

– Садись, – Етон кивнул ему на скамью напротив себя.

Лют неспешно сел, привычно придерживая меч. Етон махнул кому-то – подошла ждавшая поодаль девка-челядинка, взяла кувшин, налила в обе чаши какого-то светлого напитка: в полутьме Лют подумал, что вареный мед.

– Ваши дары, – Етон кивнул ему на кувшин. – Попробуем, что за вино такое у Оттона варят.

Послы и правда поднесли ему три бочонка вина с монастырских виноградников на Рейне. Острогляд уверял, что греческое лучше, но Лют был с ним не согласен: надо думать, вкус греческого вина напоминал пожилому боярину подвиги молодости, когда они с Мистиной и войском гуляли по Вифинии. Но так или иначе, вино было дорогим товаром, и его, пользуясь случаем, послы закупили во Франконовурте сотню бочонков.

Етон взял чашу; Лют медлил, не прикасаясь к оставшейся.

– Что? – Етон глянул на него. – Не хочешь пить со мной?

Лют выразительно покосился на девку, что стояла у стола, ожидая приказаний.

– Ступай! – Етон махнул на нее рукой.

Девка еще миг помедлила, поджала губы, потом с неохотой поплыла прочь. Взгляд, который она бросила на Етона, был весьма красноречив. Ну что же, он парень молодой...

Лют выразительно осмотрелся, дабы убедиться, что больше их никто не слышит. Потом слегка наклонился к Етону и сказал, понизив голос:

– Когда сидят такие друзья, как мы с тобой, чашу выбирает гость.

Старый Етон знал такие мелочи. Молодого Етона научить было некому: те, кто был для этого достаточно опытен, не знали, что якобы возрожденному князю не восемьдесят, а чуть больше двадцати. И многие случаи, которые настоящий Етон видел сорок раз, с его преемником происходят впервые.

У Етона вытянулось лицо: он понял, что Лют говорит это именно ему, которому чуть больше двадцати. У него как будто была слишком тонкая кожа и все его душевные движения немедленно проступали на поверхности, хотел он того или нет. Немало времени пройдет, прежде чем он выучится скрывать свои мысли. Если успеет. Однако сейчас он лишь стиснул зубы от досады, но проглотил наставление. Что он не тот прежний Етон, а лесной найденыш,

он Люту прошлым летом сказал сам. Перед ним сидел один из немногих людей, перед которым не было смысла притворяться.

– Ну, выбирай... – Етон снова поставил чашу на стол.

Лют помедлил, потом взял ту, которая и стояла ближе к нему. Не в пример Етону, у него покровы души были жесткими и сквозь них чувства не пробивались. Наоборот, если он хотел выразить что-то без слов, ему приходилось сознательным усилием приводить в движение мышцы лица. Но и сейчас, оставив позади свежесть юности, он умел улыбнуться так светло и располагающе, с оттенком лукавства, что легко внушал влечение женщинам и дружеское расположение мужчинам. Етон невольно засмеялся, хотя мог бы и рассердиться:

– Думаешь, я дурак совсем?

– А кто мне поручится, что ты умный?

– Кто-кто... Губить тебя мне толку нет. Жену из Киева уже не вернуть.

Лют качнул головой: жив он или нет, Величана в Плеснеск не вернется ни в коем случае. Мистина обещал ему полную безопасность для жены, что бы ни случилось с ним самим, а в слово брата Лют верил, как в прочность матери земли сырой.

– Ты мне, мнится, живой полезнее будешь, – продолжал Етон, отпив из чаши.

Лют снова приподнял брови, будто говоря: да ну? Это как? Он был куда менее находчив в разговоре, чем старший брат, но умением поддержать беседу без слов, пожалуй, его превосходил.

– Мне нужна жена. Знатная. – Етон невольно глянул на дверь, куда удалилась та девка. – Если не княгиня, то хоть роду хорошего. Я и Святославу, и матери его, и Олегу деревскому сколько раз кланялся, да им не до меня. Сижу на столе княжеском, а сам все как отрок.

Лют слушал с невозмутимым лицом: почему киевские князья не торопятся подыскать Етону жену, он знал. Святослав еще отчасти надеялся, что могильный выползок однажды растает, как морок, и не стремился помогать ему завести законных наследников.

– Я им говорю: жену мою в Киев забрали, так дайте мне другую! Сестру свою не хочет мне Святослав отдать. Просил Олегову внучку – тоже не отдает. Говорят, Ольга ей ключ привязала, теперь она раба ее. Это правда?

Лют кивнул.

– А я и позабыл, – с воодушевлением продолжал Етон, – что у меня здесь, у бужан, добрая невеста припасена! Воюн укровский мне нынче напомнил. Я ведь знал, что суждено мне старым умереть и заново молодым родиться. Полсотни лет назад мне Один в тайности сие обещание дал. Потому я и перстень Воюну оставил, чтобы дочь не выдавал, ждал, пока я приеду удалым молодцем. Теперь она как раз мне в версту.

Лют хмыкнул с невольным одобрением: ловко придумано. Новый Етон и правда не дурак, хоть до старого ему, как зайцу до тура.

– Это самая по мне невеста! – увлеченно говорил Етон. – Роду хорошего, старинного, в доброй славе. С собой, люди говорят, красавица, как заря ясная. Да вот незадача – и эту в Киев уволокли. Видно, у вас в земле Русской худо с девками, красивых не родится, коли вы на наших все заритесь!

Этот выпад Лют оставил без внимания. В Киеве красивых девок хватало, но не для Етона.

– Я ее и увидеть не успел – а ведь у нее перстень мой обетный был, обручальный! Что с ней там, в Киеве? Ее Святослав замуж выдаст? Ведь не продаст же, коли она взята в тальбу, а не в челядь?

– Я не знаю. Может, и выдаст.

– Давай уговор. – Етон положил руку на стол. – Ты как в Киев воротишься, попроси, чтобы Святослав отпустил Воюнову дочь мне в жены. Она по праву моя, я с ней при рождении ее обручился! Пусть отдаст. А я тогда тебе все обиды прежние прощу и буду за брата почитать.

Лют не ответил, слегка катая в ладони чашу. Очень ему нужен такой брат, всю жизнь мечтал! И Етон не знает, что Святослав любит Люта немногим больше, чем сам плеснецкий князь. Неприязнь их имела весьма давние семейные корни, и если братья Свенельдичи обратятся к Святославу с просьбой, то он, скорее всего, поступит наоборот. Но этого Етону знать не нужно. Да и отвечать сразу отказом было бы неразумно: им здесь ездить каждый год.

Хотя... С удивлением Лют обнаружил, что замысел Етона ему скорее нравится. Почему бы и нет, если подумать? Воюнова дочь достаточно хороша, чтобы стать для Етона водимой женой, и бужане примут ее как княгиню. Но и Киев от этого брака никакого урона не понесет – Етон породнится не с кем-то из других князей, а со своими же. Но тот, кто поможет это устроить, приобретет дружбу и Етона, и Воюна, человека весьма влиятельного на рубежах Деревской и Бужанской земли.

– Если выйдет, что я ее из плена вызволю, отцу дочь возвращу, обо мне по всей земле слава добрая пойдет! – убеждал его Етон. – Хоть песню складывай: вдову молодую обидели, Змей в пещеру уволок, а я вызволил! Помогите мне, а? Ты у меня прежнюю жену забрал, ну да чур с ней, я и вспоминать больше не буду. А то уж и не знаю, где другую искать.

– Что с вашей вдовой делать, решает только князь. Я не знаю, что с ней сейчас, и не стану гадать, как Святослав думает ею распорядиться.

– Но ты пообещай порадовать мне в этом деле, – Етон подался к нему. – Как вернешься, попроси ее у Святослава для меня. Удастся дело – век будешь мне братом. Не удастся... придется мне в другом каком месте о себе порадовать. Без жены мне ходить не пристало, я ведь не отроча.

На его лице отразилась надменность с примесью решимости. Пусть он и не имел права на жену покойного Етона... Лют стиснул зубы от тайной ярости, вспомнив кое-что. От этих воспоминаний ему захотелось убить Етона – вот этого, что сидит перед ним. И того, который давно лежит в неизвестной могиле, тоже.

– Обещать ничего не буду, – боясь, что Етон тоже вспомнит лишнее, Лют поставил чашу и встал. – Но просьбу твою Святославу и Эльге передам.

– Передашь? – Етон обрадованно вскинул голову. – Попросишь за меня? Поклянись!

Лют лишь прикоснулся к рукояти своего Телохранителя. Благодаря врезанным в стальную основу тонким кусочкам медной и серебряной проволоки она, хорошо начищенная, при огне ярко блестела. Это легкое касание заменяло самую сильную клятву, какую может дать рус.

А руки он все-таки Етону не подал. И тот, надо думать, это отметил.

– На том спасибо, – бросил Етон, вновь превращаясь в князя, которому не пристало обращаться с просьбами к чужому боярину. Не встал, а лишь откинулся назад, намекая, что беседа окончена.

Попрощавшись кивком вместо поклона, Лют пошел прочь. Телохранители мигом вскочили и устремились к двери, будто составляли его неотделимую часть: Гуннульв вышел перед господином, двое других позади.

Думарь, в обнимку со своим мечом сидевший на приступке княжьего стола, проводил киянина угрюмым взглядом. В душе он так и не простил Рысенку надругательство над Етоновой могилой и обман. Но ему было некуда отсюда уйти. Между Думарем и лесным найденышем не было кровного родства, но причудливой судьбой и хитроумной волей старого Етона он был связан с его преемником не менее сильными узами, чем отец с сыном.

* * *

Удовлетворенный этой беседой, больше Етон киевских послов не удерживал. Им тоже не было смысла медлить: близкая весна грозила порушить санный путь. До Киева оставалось еще дней пятнадцать пути, но после Франконовурта уже казалось близко. И особенно торопился

Лют, хотя никому не говорил о причине. Его дома ждала молодая жена, ставшая ею всего-то за месяц до его отъезда на полгода... Это было сурово, но Лют понимал, что брат, устроивший ему это путешествие, был прав: после того как он с посольством побывал у восточных франков и виделся с самим Оттоном, никто уже не посмеет сказать, что-де сын челядинки недостойный муж для женщины княжеского рода и звания.

За три дня посольский обоз дополз от Плеснеска до Укромовской волости и заночевал в Горинце, обозначавшем границу с Деревской землей. Перед тем, в Укроме, с ними простился Плетина и его люди, а Воюн, рассказав о своих делах родным, отправился с киянами дальше.

На русском участке пути киевский обоз уменьшился вполосину: остались в Плеснеске тамошние купцы со своими отроками. При боярах имелась сотня их собственных оружников, да почти столько же набиралось киевских купцов и разной челяди. Верхом ехали бояре и дозоры – передовой и замыкающий. При санях имелись возничие, но не везде: часть саней была скреплена между собой, так что один возница вел двое-трое.

После Горинца еще день ехали на восток по замерзшей Горине. В следующий раз ночевали в Веленеже, у посадника Перемила – Лютова тестя. Дав два дня на отдых людям и лошадям, тронулись дальше. Здесь дорога на восток, к Днепру и Киеву, проходила по сухому, петляя между истоками нескольких рек. Всем троем боярам эти места были памятливы по Древлянской войне десятилетней давности. Близ дороги стояло несколько опустевших весей; жителей в них не было, но несколько раз в год проезжавшие купцы использовали их для постоя, не давая избам и клетям совсем пропасть в бурьяне.

Теперь обоз полз через болотистые леса вдоль верховьев Случи. Возглавлял его передовой дозор под началом Владара, опытного человека, участника еще той достопамятной поездки братьев Свенельдичей в Плеснеск десять лет назад. За ним шел со своей дружиной Одульв, за ним тянулось полтора десятка саней с самым дорогим грузом: дарами Оттона и Адельхейд Святославу и Эльге, товарами, закупленными по поручению князя и княгини. Далее ехал Лют со своими оружниками, за ним еще два десятка саней с грузом, принадлежавшим самим послам. Обычно за передовым дозором следовал Лют – в этой поездке он был главой оберега¹⁶, но при выезде из Веленежа Одульв предложил поменяться.

– Это у тебя среди древлян полно кровных врагов, – сказал он. – Не у меня.

Летом на этом отрезке дорога пролегла почти сплошь по гати. Вот она пошла под уклон, между деревьями показался просвет: это означало, что кончается сухая песчаная грива, поросшая ельником, и впереди болотистая пустошь. Владар велел подать рогом знак остановиться, и передовой дозор поехал по гати, проверяя, нет ли где растаявших ям. Длинный обоз стоял еще по большей части в лесу, среди густого ельника.

Но вот рог пропел снова, и Одульв дал знак своей дружине двигаться вперед.

* * *

Из густого ельника за движением обоза наблюдали внимательные глаза. Берест уехал из Плеснеска раньше киян, на другой же день после того разговора с укромичами. С ним отправились двое отроков Плетины, но сам драговижский старейшина остался, чтобы скрыть их замысел от Воюна. При жреце никто больше не упоминал о нападении на посольский обоз, и он мог думать, что дальше застольного разговора дело не пойдет. Но на деле замысел рос и близился к осуществлению. В Драговиже нашлось немало охотников сделать набег на киевский обоз: всем еще памятно было недавнее разорение, души жгло унижение и боль о потерянных родичах. К приезду Плетины уже было собрано три десятка молодцов, мужей и бойких отроков – все родичи тех, кого увели люди Унерада. Поначалу были сомнения, не навлечет ли Драговиж на

¹⁶ Оберег (ударение на О) – охрана, конвой.

себя еще худшую беду, но Берест быстро всех успокоил: дело будет сделано не близ Драговижа и не на Горыни, а далеко отсюда – в земле Деревской.

– На вас и не подумает никто. А там, где дело будет, жителей почти нет. Искать виновных русам будет негде, мстить некому. Вы уж только не спешите. Глядите, чтобы русы не пленили никого живыми. Мы так устроим, что боя-то прямого и не будет. Стрелами из засады их дозор снимем, они вас и не увидят, а уже все пойдут к Марене в зубы. Но кто будет добычу брать – сохрани чур, мало ли что, упадете, споткнетесь, ранены будете, да захватят вас русы – лучше сами себя убейте, чем ждите, пока из вас всю правду выпитают. Кто не готов – лучше сейчас откажитесь. А то не только себя, а и ближиков всех погубите, и тогда уж от вашего Драговижа одно горелое место останется.

Кое-кто и правда отказался. Остальные дали клятву: стоять прочно, быть заедино, в плен не попадать. Берест и Плетина увели свою дружину на восток, пока русы отдыхали в Веленеже, и имели лишние два дня на то, чтобы выбрать место и все подготовить. Окрестности Моравской дороги Бересту были хорошо знакомы: его родные места лежали севернее, но здесь он бывал во время той войны.

Вот прибежал на лыжах гонец, и Берест повел своих людей через лес к дороге. Место он выбрал у оконечности песчаной гривы, заросшей густым ельником, у выезда из чащи на гать, пересекавшую болотистую пустошь. Своих людей он разделил на два отряда, оба должны были ждать, укрываясь в подлеске вдоль дороги: один шагов за сто до выезда из леса, другой перед самым выездом.

Сам Берест был с тем отрядом, что дальше от пустоши: здесь предстояло самое кровавое дело. Разведя людей по местам, он затаился за грудой бурелома, шагах в десяти от дороги, и стал ждать. Он сидел тихо, и среди густых лап ни один взор не различил бы бурый кожан Береста, прильнувшего к бурому толстому стволу.

Зато он видел все как на ладони. Вот они, знакомые красные пятна – щиты передового дозора. Дозор проехал, дорога опустела. Когда он шагов на сто углубился на пустошь, на дороге через ельник показался следующий отряд, уже пеший – человек тридцать. По снаряжению видно, что дружина боярская. Самого боярина найти было нетрудно: он ехал верхом, возле него еще трое всадников – телохранители. Вот эти были в полной готовности к бою: шлемы, щиты. Но сам боярин оказался не Свенельдич – выше ростом, полнее и шлем другой. Потом потянулись сани – полтора десятка, при каждой лошади свой возчик.

После первой вереницы саней показалась новая дружина оружников, и вот здесь Берест наконец увидел своего врага. Как девка на гуляньях выискивает тайком милого сердцу отрока и замечает его из любой дали, так Берест выискивал Люта Свенельдича, хотя зоркость его обостряла не любовь, а совершенно противоположное чувство. Не сладкую дрожь, а горячую ярость вызывал у него вид этого стана, этого шлема с бармицей, оставлявшей на виду только глаза. На куполе шлема прибавилось вмятин и отметин, но взгляд между нижней кромкой и бармицей казался прежним – острым и сосредоточенным.

Рядом с Лютом ехал еще один знакомец – плеснецкий боярин Стеги, посланец от Етона к Святославу, – в простом дорожном кожане, но в куньей шапке, оточенной мехом того же светло-рыжего цвета, что и его борода. При нем тоже было трое телохранителей и десяток оружников.

Сердце замирало – один выстрел, и конец делу. Даже если под кожаном у Свенельдича кольчуга, с такого расстояния стрела пробьет ее и войдет в тело на смертельную глубину. И будет утолена десятилетняя жажда мести. За Малин, за мать и отца, за сестру и брата, за приятеля... Задорка его звали. В последний раз Берест его видел, когда полон уводили за реку – соединенный попарно и привязанный к длинной жерди. Теперь уж никого из них, верно, нет в живых.

Но еще рано начинать: здесь только середина обоза, все киевские оружники ничем не стеснены и готовы дать отпор. Если он выстрелит сейчас, все дело провалится. Позволить себе эту месть Берест смог бы, только если Лют оказался бы в замыкающем дозоре. А свались он сейчас с коня убитый – его люди бросятся в лес, живо найдут врага, осыпят стрелами. Или зарубят – общим числом киевская дружина многократно превосходила его засадный отряд. А драговижичи без вождя отступят в лес, и ничего больше не будет...

Берест поколебался, не предпочесть ли все же свою собственную месть. То, что он сам переживет Свенельдича на десять ударов сердца, нисколько его не волновало: все, что будет потом, казалось неважным. Но все же нет: чем больше людей он научит противостоять русам, тем вернее общая победа. Тогда и своя месть не уйдет.

* * *

На крик сойки русы не обратили особого внимания, и боярин Острогляд, сладко спавший в санях под медвежиной, даже ухом не повел. Зато его услышал Плетина, со своими отроками сидевший в подлеске у выезда на пустошь.

Берест давал знать, что время пришло. В ответ из подлеска раздалось несколько громких ударов топора по дереву, и на дорогу с шумом, разбрасывая снег с широких лап, завалилось сразу три ели, заранее подрубленные так, что они едва держались.

Мимо них в это время ползли Воюновы сани, они-то и попали прямо под завал. Сам старейшина, когда огромная ель над головой вдруг закачалась и стала валиться, успел соскочить и отпрыгнуть в сторону, но Колча, его молодой родич, растерялся; ослепленный снежной пылью, он был сбит с ног и скрылся под ветвями. Воюн прокатился по снегу и хотел встать на колени, но прямо над головой свистнула стрела, и он, испуганный и ничего не понимающий, пригнулся, прячась за санями. Он находился в хвосте обоза, за ним ехали пять саней, а дальше только замыкающий дозор. И вот путь вперед перегораживали упавшие ели, отрезав хвост от прочих частей обоза, в том числе от оружников Острогляда – дружина старшего посла шла последней из трех.

Из вооруженных людей здесь находились лишь двое: они ехали верхом позади вторых от завала саней. Один – тот, что находился ближе к засаде, – тут же упал с коня со стрелой в шее. Видя это, второй немедленно погнал коня к этой стороне дороги – прикрыть сани, но вторая стрела вонзилась в грудь лошади. Лошадь завалилась, придавив всадника; обутой поверх черевьев в широкие поршни, набитые соломой, как ходят зимой, он не сумел быстро выдернуть ногу из стремени. Возница тоже был убит стрелой из подлеска, едва успев повернуть голову на шум, и рухнул в сани – на груз, прикрытый большой медвежиной.

А из подлеска на дорогу тут же посыпались люди – на лицах личины, какие носят в Карачун, в руках топоры или рогатины. Разбрасывая снег, будто лоси, они выскакивали из-за кустов, стволов и груд бурелома и устремлялись к саням. Раздавался вой и крик, будто и впрямь злые зимние духи набросились на людей среди бела дня. Хватая каждый по мешку, что под руку попало, они тут же кидались назад. Помешать им было некому: уцелевшие от первого залпа двое возниц, бросив вожжи, метнулись от саней прочь, на другую сторону дороги – это были простые холопы, не обученные сражаться. От оружников Острогляда нападавших прикрывал завал поперек узкой дороги, а замыкающий дозор еще не показался из леса.

К вторым от завала саням кинулись трое. Один с ходу зарубил оружника, что пытался выбраться из-под мертвого коня, и принялся торопливо собирать оружие убитого. Второй стал выпрягать лошадь из саней.

В этот миг раздался яростный вопль. Медвежина отлетела на снег, и в санях подскочил полный мужчина с мечом в руке. По пути Острогляд, укрывшись шкурой с головой, заснул и пробудился, только когда сани встали, а на него сверху упало что-то тяжелое – это было тело

холопа-возницы. Снаружи поднялся знакомый ему шум схватки. Оружие боярина ехало с ним в санях; щит лежал сзади, но меч был под боком, и Острогляд, нашарив рукоять, немедленно устремился в бой.

– Это кто тут с посвистом змеиным забавляется? Песьи дети, волчья сыть! Я вам сейчас как свистну – все лазоревы цветочки осыплются, темны лесушки к земле преклонятся, а голоушки ваши мертвы полягут!

Отроки Плетины ничего подобного не ожидали. Берест обещал им, что близ саней драться будет не с кем и от них потребуется лишь побыстрее переправить добычу в лес. Неожиданностью оказалось уже то, что здесь было двое вооруженных людей, но быстрая расправа с ними воодушевила неопытных разбойников. Лежащего в санях под шкурой было совсем не видно. Когда же оттуда вдруг выскочило нечто шумное и очень злое, они даже растерялись и подались назад. Тот, который собирал оружие, упал с разрубленной головой, даже не успев разогнуться. А Острогляд соскочил на снег и второй рукой подхватил с задка саней свой щит.

Быстро оглядевшись и увидев завал, Острогляд живо сообразил, что происходит, и побежал вперед по ходу движения обоза – туда, где находились его оружники. Державший лошадь разбойник метнулся от него в ту же сторону, но Острогляд успел полоснуть его мечом по спине и ниже. Овчинный кожух смягчил удар, но все же острое лезвие корляга добралось до тела и оставило рану, неглубокую, но длинную.

Заметив, что здесь творится нечто непредвиденное, к Острогляду побежал от дальних саней сам Плетина с рогатиной в руках. Слыша за спиной шум бегущих ног, Острогляд обернулся и шагнул навстречу новому врагу.

– Уж я вас, волчью сыть, поволочу по снегу по белому! – орал он, не переставая. – Будет вам от рук моих плакати!

– Бей, бей! – кричал своим Плетина, пытаясь достать его рогатиной, будто медведя.

Но это был особенный медведь, вооруженный и обученный бою. Острогляд ловко отводил выпады щитом и пытался сблизиться на такое расстояние, чтобы рогатина стала бесполезна и он мог достать врага мечом. В этом деле он был куда опытнее Плетины, и драговижский старейшина мог бы здесь и голову сложить, если бы не подбежали ему на помощь еще двое. Теперь Острогляду пришлось сосредоточиться на защите: прикрываясь щитом и отводя выпады рогатин клинком, он пытался к засеке. Встав меж торчащих ветвей, Острогляд очутился почти как в крепости; ветви мешали его противникам нанести удар, а главное, они не могли сами подойти к засеке, чтобы, как было задумано, стрельбой отгонять от нее оружников с той стороны. Острогляд же ловко отбивал клинком жала рогатин, пытавшихся его достать. Рогатины дрожали в руках драговижичей: непрерывный яростный крик и ловкость обращения с оружием, какой они не ожидали от немолодого и полного боярина, лишали их присутствия духа. «Дюже страшно!» – так выразил общие чувства Лычак, сестрич Плетины, когда при обсуждении дела Берест сокрушался, как это они упустили старшего посла – ведь совсем был в руках!

Видя, что в ближнем бою противника не взять, Плетина попятился.

– Стреляйте же, немытики! – кричал он своим.

К завалу полетели три стрелы, но все три застряли в ветвях, не достав Острогляда. Метнули две сулицы: одну Острогляд отвел щитом, вторая задела ему ногу. Но он стоял, не собираясь сдаваться.

– Резвун! Репец! – в перерывах между угрозами кричал Острогляд. – Ко мне! Я здесь!

В суматохе он не успел увидеть тела своих отроков, которые уже не могли прийти ему на помощь.

Но еще оставался замыкающий дозор. Он шел в полусотне шагов позади и уже должен был услышать шум. Однако с той стороны, из-за елей, тоже доносились звуки схватки.

* * *

Для себя Берест отобрал полтора десятка самых крепких и решительных молодцев: им предстояло взять на себя замыкающий дозор. Выбрав место погуще шагах в ста до выезда на пустошь, они притаились по обеим сторонам дороги – за стволами, в подлеске и за буреломом. Грязно-белые непокрытые кожухи, бурые и серые свиты делали их почти незаметными в зимнем лесу. По знаку Береста они приготовили луки и наложили стрелы. Уже были обрушены ели, спереди доносился крик и шум начавшейся драки возле саней. А лесная дорога была пуста. Мгновения тянулись невыносимо мучительно. Казалось, где-то близко бьются с врагом их родичи – крики Острогляда и шум долетали и сюда, – а они сидят попусту, ничего не делают, за кустами хоронятся...

– Ждите... – шептал Берест, по своей старой памяти понимая, как тяжело его соратникам. – Сейчас они появятся. Задние всегда отстают шагов на полста...

Вот у поворота тропы что-то мелькнуло, обозначилось движение, показались два всадника...

И тут же один повалился с седла со стрелой в груди. Случилось то, что Берест заранее пытался предотвратить, но что у необученных и неопытных ратоборцев случается сплошь и рядом: едва увидев врага, кто-то с другой стороны дороги забыл, что нужно ждать знака, и выстрелил немедленно.

– Да грызи тебя упырь!

Берест выбранился вслух. Они должны были выждать, пока весь передовой дозор оказался бы на дороге прямо между двумя полосами засады, и тогда единым залпом можно было бы снять сразу человек десять-пятнадцать – если повезет и все попадут в цель. Но кто-то особо нетерпеливый все испортил: впервые в жизни собираясь стрелять по человеку, позабыл все наставления.

Рухнули надежды снять одним залпом всех или большинство – оставалось попытаться задержать дозор на дороге, не пропустив к хвосту обоза.

– Щиты! – донесся оттуда чей-то крик. – С дороги! Рассыпья!

Старшим над двумя десятками замыкающего дозора был Торлейв. Он знал, что Лют выделяет людей больше обычного, поскольку считает эту часть пути особенно опасной: после того как здесь прошли Святославовы сборщики, окрестные жители озлобились. Горина уже осталась позади, но, едва увидев, как отрок рядом с ним падает наземь, прошитый стрелой насквозь, Торлейв сразу сообразил: это то самое, чего Свенельдич-младший ждал.

В свои девятнадцать лет сын Хельги Красного боевого опыта не имел: в зиму древлянского разорения ему было всего девять, а в лето войны с Жировитом волынским отрок, разумеющий по-гречески, ездил в Царьград с купцами. Но сейчас он сообразил: раз по ним стреляют из засады, нужно как можно скорее перестать быть удобной целью.

Однако обязанность охранять обоз никто с них не снимал, и Торлейв, уже согнав коня с дороги к деревьям и прикрываясь щитом со стороны леса, крикнул:

– Через лес вперед, к обозу!

Рассыпавшись порознь, два десятка всадников двинулись сквозь густые заросли. До них уже долетали звуки схватки и вопли Острогляда – ясно было, что там требуется помощь. Но по лесу не помчишься вскачь, особенно по глубокому снегу, и кони шли шагом. То и дело из зарослей и из-за груд бурелома вылетали стрелы. Стрельба не причиняла большого вреда: разбойникам было трудно целиться и еще труднее попасть среди ветвей. Однако самому Торлейву стрела уже ударила в щит, и краем глаза он приметил, что двое или трое из его людей ранены.

Сколько здесь этих разбойников? Враг почти не показывался на глаза – лишь качались еловые лапы и мелкие елочки, за которыми кто-то перебегал. Порой удавалось заметить, как

фигура в кожаной куртке и с личиной вместо лица, пригнувшись, с луком в руке, торопливо перебирается от одного укрытия к другому. Одного такого кто-то из отроков успел застрелить, и тело осталось лежать на виду, но остальные старались не высовываться. Поначалу стрелы летели спереди, но теперь, по мере продвижения дозора вперед, больше обстреливали сбоку.

С громким ржаньем завалилась уже вторая лошадь – в животных было легче попасть, а щитом всадник прикрывал себя. Слыша позади чью-то «йотуну мать», Торлейв понял: так только лошадей напрасно погубим.

– Назад! – крикнул он. – Спешиться!

Дозор вернулся к дороге. Кияне спешили, Торлейв оставил двух человек при лошадях, а остальных повел снова через лес вперед. Теперь у него осталось в строю менее пятнадцати человек, за вычетом одного убитого и нескольких раненых. Теперь русы, наоборот, сбились в кучу, приняв вид «боевого пятна»: внешний ряд прикрывался щитами, а из внутреннего пятеро самых лучших стрелков выцеливали каждое шевеление в завалах и зарослях. Неизвестно, удалось ли поразить кого-либо, но черти в личинах, опасаясь получить стрелу в глаз, сами прекратили стрельбу.

Прижимаясь к толстому стволу, Берест наблюдал за этим и невольно скалил зубы в досаде. Истребить замыкающий дозор не получилось, и теперь русы, пусть медленно, но продвигались вперед. Берест было подумал, не вывести ли своих людей навстречу, но отказался от этой мысли: кияне были все в шлемах и с щитами, а у них ничего этого не было – как и опыта открытой оружейной схватки. Он только положил бы своих полтора десятка, этой ценой задержав русов всего на несколько ударов сердца. В двух шагах от него какой-то отрок, привыкший стрелять по зверью на охоте, слишком высунул голову над грудой бурелома, чтобы прицелиться получше, – и мигом получил стрелу в лоб.

Однако свое дело они почти сделали: не позволили дозору вовремя оказаться там, где люди Плетины очищают сани.

Со стороны пустоши долетел звук рога: Плетина давал знать, что отходит.

– В лес! – крикнул Берест и, пригнувшись, побежал назад за буреломом.

На бегу он пошатнулся, наступив на корягу под снегом, оперся о ствол ближайшей ели. Тут же в ствол возле его плеча с хрустом впиалась стрела...

* * *

– Это я всех победил! – кричал Острогляд, размахивая мечом. – От меня все деру дали! А вы где были, тролль тебе в Хель!

Опустив к ноге щит, он тяжело привалился к заснеженным стволам засеки и распахнул шубу. Возле его ноги на снегу краснели пятна крови, а ранившую его сулицу боярин держал в левой руке, опираясь на нее.

Когда Лют со своими людьми наконец пробрался через заросли вдоль обочин дороги, забитой санями, в хвосте обоза все уже закончилось. Сани были выпотрошены, только солома валялась на истоптанном снегу. Лежало несколько тел – своих и чужих, убитая лошадь. Многочисленные следы ног уводили в заросли.

Острогляд умолк, перевел дух и зарычал от ярости – дыхания кричать уже не было. Сел на снег, тяжело дыша открытым ртом. Шлем он не успел надеть, а шапку обронил в схватке, и его кудри от снега совсем побелели, будто он разом поседел.

– Давай... гони за ними... – выпустив сулицу, он махнул на лес. – Туда... поклажу... лошадей... и ткань нашу с женками...

Держа щиты перед собой, пять-шесть оружников двинулись в лес по следу на снегу. Около засеки никого из врагов уже не осталось, и Острогляда окружили его люди; подняли, повели к саням, усадили. Кто-то поднял его шапку и подал; Острогляд взял ее и вытер мокрое

от пота и снега лицо. Кто-то отрезал от подола сорочки полосу, чтобы перевязать ему ногу – искать припасенные для этого случая ветошки где-то в коробах сгрудившихся саней по ту сторону завала было некогда.

– Торлейв где? – Лют глянул на дорогу, откуда уже давно должен был показаться замыкающий дозор.

– А пес его мать знает! – выдохнул Острогляд.

Люта продрало морозом: если они потеряли Торлейва сына Хельги, любимого племянника княгини...

– Ярец! Туда! К задним!

Но тут на тропе показались всадники, и в первом ряду – Торлейв, живой и здоровый, лишь взволнованный и возбужденный. При виде разоренных саней и валяющихся на дороге тел у него расширились глаза – этого он и боялся.

– Они... засада! – выдохнул он. – Один убитый у меня. Раненых четверо.

– Где они, черти эти?

– В лес отошли.

– Свенельдич, гони за ними! – кричал с саней Острогляд, едва отдышавшись. – Чего расселся, йотуна мать! Они тканину нашу уволокли, в рот им копыто! Они моих парней положили, двоих!

– Подтягивайтесь, – велел Лют Торлейву. – А вы, – он обернулся к оружникам Острогляда, – вот этого, который орет, перевязать, в шкуру завернуть, уложить. Лошадь ему запрягите, у Торлейва есть теперь одна свободная. Увозите вперед, к Одульву. А здесь – Сольва, раненых наших перевязать, убитых тоже на сани. Вот это убрать, – он показал на засеку, – и подтягивайтесь вперед. Не копайтесь, дренги! А то засядем на ночь посреди дороги!

– Свенельдич, ты глухой! Тканину нашу утащили! С женками!

– Йотуна мать! – Лют обернулся и подъехал на три шага ближе. – Отец, тебя тут чуть на три рогатины не подняли, как медведя, а ты о женках кручинишься! Да с меня княгиня голову бы сняла за тебя! Баб у нее своих полно.

– Где ж ты был, йотунов свет? Или не слышал, что с нас тут шкуру спускают? Двоих моих ребят убили, да конюший невесть где!

– Как я тебе – по воздуху прилечу? Вся дорога в санях, объезда нет, болото, кусты, лошади ноги переломают! Эти клюи пернатые ведь знали, где ждать нас! С умом место выбрали.

– Да чтоб им этот ум кикимора в задницу затолкала!

Из леса показались всадники, ездившие по следам.

– Там шагов через двести ручей, на том берегу опять ельник, – доложил оружник. – Следы туда, вверх по склону. Идти?

– Нет, – отрезал Лют. – Труби, чтоб все назад.

– У нас пять лошадей увели, ты не видишь? – возмущался Острогляд, которому оружничий наскоро перевязывал ногу, разрезав порты.

– Вижу. Но людей мне жаль больше, а неизвестно, во что нам обойдутся эти пять лошадей. Все, дренги, везите его к Одульву.

Острогляд продолжал браниться, но потише: годы давали о себе знать, а напряжение и потеря крови оставили боярина почти без сил.

* * *

Засеку растащили, подняли Колчу, пролежавшего все это время под ней. К счастью, его накрыло не стволom – могло бы хребет сломать. Оглушенный, он был без сознания, но живой. Его положили на сани к Воюну. Пришлось подождать, пока приведут лошадей, расседлают и запрягут в двое саней. Трое саней Лют велел бросить: в них не осталось ничего, кроме соломы.

– Чего, старинушка! – на ходу крикнул кто-то из Остроглядовых отроков Воюну, который сидел на санях бледный, с опрокинутым лицом. – Не убили же? И паробок твой жив? Ну и ладно!

Вернулся Нойка, второй укромовский отрок. Он успел ускользнуть с дороги в кусты, пока тут продолжалась замятня, и осмелился показаться лишь тогда, когда увидел, что все успокоилось и обоз тронулся с места.

– Ты как, отец? – Он робко тронул Воюна за плечо. – Не зашибли тебя?

– Да лучше б мне голову сломили... – пробормотал Воюн.

– Что ты говоришь, батька! Живы мы все – и слава чурам!

– Чурь... ты видел, Нойко? – Воюн сам схватил его за рукав. – Видел, на них личины были?

– Видел, батька! Страшно – жуть, чуть порты не измочил! Будто Карачун!

Кияне вовсе не обратили внимания на то, что нападавшие были в личинах: такое зрелище им встречалось уже не раз. Но Воюн оставался сам не свой до следующего погоста, куда успели прибыть, несмотря на задержку, еще до темноты. Молчал он и весь остаток времени до сна, пока бояре и оружники вокруг него бурно обсуждали происшествие. Острогляда еще раз перевязали, напоили сбитнем и пытались уложить спать, но он все сокрушался по своим телохранителям и своей «тканине». Из Франконовурта он вез вышитый ковер, изображавший самого Оттона на престоле, в короне и во всем блеске королевского наряда, а по бокам от него стояли в виде богато одетых женщин подчиненные ему земли: Бавария, Саксония, Лотарингия, Швабия, Франкония и Тюрингия. Изготовили ковер в Кведлинбурге, в монастыре, основанном Матильдой, матерью Оттона, и он был послан в дар Эльге. Острогляд держал его на своих санях, не желая расставаться с наилучшим из всех королевских подарков, и вот его уволокла какая-то лесная шваль! Остальная поклажа на задних санях не представляла большой ценности: там были припасы и разные пожитки Остроглядовых оружников. Но ткань было жаль. Ценный залог будущего духовного союза оказался украден. И кем? Шишами лесными, кто ни об Оттоне, ни о его землях и не слышал ни разу в жизни.

Лют был огорчен не меньше – погибли трое оружников, двое возниц, две лошади застрелены и пять уведены. И это не считая десятка раненых, в том числе старшего посла! Говорил он мало, но лицо его осунулось, складки возле сжатых губ проступили резче. Казалось бы, попрекать ему себя не в чем: без ворожбы он не мог предсказать это нападение, и люди справились не худшим образом. Место для засады злодеи выбрали с умом и знанием окрестностей; была подготовлена двойная засада и пути отхода за ручей, куда преследователи, местности не знающие, отважатся соваться едва ли. Все обличало противника неглупого, решительного и опытного, и это тревожило Люта: ему будто бросали вызов. Но кто? В этой округе почти не было жителей.

– Мертвецы из Божищей, – сказал Владар, когда оружники обсуждали это меж собой. – Тут же недалеко.

– Угу, потому и в личинах, – кивнул Торлейв. – Морды-то сгнили.

Он был непривычно молчалив, переживая свой первый нешуточный бой. Лют похвалил его потом, сказал, что он все сделал правильно, однако парня до сих пор трясло. Он не был трусом, но и не ощущал того боевого ража, который Люта в его возрасте заставлял мчаться вскачь на засеку, давая уверенность, что стрелы всегда попадают в кого-то другого. Торлейв хорошо понимал: могут попасть и в него. Но для сына Хельги Красного это был не повод жаться за чужими спинами.

Колча отлеживался: он пришел в себя, но был сам не свой. Воюн сидел в темном углу и не встречал в разговоры. О произошедшем старейшина говорить не решался, но чувствовал себя так, будто каждый миг на него могли указать как на главного виновника.

У него-то был ответ на тот вопрос, что мучил Люта. Ему не требовалось гадать, кто устроил это нападение: он точно знал. Драговижичи надели личины, чтобы нагнать страху на противника, но помимо этого скрывать лицо от киян из них имело смысл только двоим: Бересту и Плетине, которых русы видели в Плеснеске и могли узнать. Зато Воюн и его родичи знали всех, и им личины Карачуна, не раз виденные, не мешали угадать своих ближайших соседей. Он лишь поначалу опешил и растерялся: не ожидая ничего подобного, не поверил своим глазам.

А ведь он знал, что замыслили Берест и Плетина. Они обманули его притворным отказом – а может, он сам обманулся, чтобы не тревожиться еще и об этом, когда душа была полна тревогой о дочери.

– Они ж могли меня убить! – бормотал старейшина, вновь и вновь вспоминая, как бежали к нему люди в личинах и как сам он хоронился под санями, пока не услышал совсем рядом голос Люта.

Из его саней тоже была вынесена поклажа, а лошадь уведена. В поклаже ничего особо ценного не было – так, дорожные пожитки, хотя теперь укромовичи остались даже без сменной рубахи. Выходит, их ограбили свои. Может, и не со зла – разбираться, где чье, неопытным разбойникам было некогда. И то, что жизни его угрожали свои же, даже сваты, хоть и бывшие, потрясло его сильнее, чем сама эта угроза.

Эту тайну требовалось сохранить во что бы то ни стало. Пробоитайся он – это будет смерть Драговижу, самому Воюну и Обещане. И старейшина старался отворачиваться от света, будто боялся, что русы по лицу его угадают правду.

– Да ладно тебе, отец! – сказал наконец Лют Острогляду. – Ложись спать. Может, найдем еще тканьину с бабами – диковина приметная, авось где всплывет.

– Тьфу на нее! – махнул рукой Одульв. – То, что мы княгине везем, ей куда дороже покажется. И уж этого у нас все бесы из Нави отнять не сумеют!

* * *

Послам повезло: они добрались до Киева в густых сумерках, когда ворота уже были закрыты – и на Святой горе, и на Киевской. Внутри их, конечно, пустили, но ехать прямо к княгине, как пришлось бы делать среди дня, уже было поздно, поэтому послы отправились каждый к себе домой. Правда, княгиня узнала об их приезде довольно быстро: от ворот послали к ней на двор, где еще сидел воевода Мистина, поэтому Эльга с вечера знала, что завтра ей предстоит принимать послов. С чем они приехали – с ответом на этот вопрос, весьма ее волновавший, предстояло подождать до завтра. Лют лишь передал с отроком для брата, что «все хорошо», сняв с души Эльги тревогу об исходе такого непростого дела. Если бы он к этому прибавил, что «есть важные новости», то княгиня не спала бы ночь от волнения, но об этом Лют просто не подумал. Всего трое убитых оружников и один умерший зимой во Франконо-вурте от лихорадки – за полугодовой поход это небольшие потери, и для Люта это было самым важным. Случалось, если в Царьграде привязывалась нутряная хворь, так больше покойников за морем оставляли.

– Ты поедешь домой? – спросила Эльга, уверенная, что Мистина хочет поскорее увидеть брата.

Она давно знала, что на самом деле Мистина состоит с Лютом в другой степени родства, и он знал, что она это знает, но они продолжали говорить о нем как о брате, чтобы тайна ненароком не порхнула в лишние уши.

– Нет! – Мистина засмеялся. – Если я сейчас поеду домой, то он полночи будет мне о делах докладывать. Сам не сможет удержаться. Он же будет мне благодарен, если я не приду

и оставляю его вдвоем с молодой женой! Будто я не помню, как сам домой из походов возвращался...

Эльга тоже засмеялась: по его взгляду, устремленному на нее, она видела: под «домой» он имеет в виду не Свенельдов двор. К ней, Эльге, он рвался, даже когда приезжал поздней ночью. Даже когда она была женой Ингвара. Или жила в Вышгороде. Зимняя тьма и дальность расстояния не могли остановить Мистину, потому что увидеть Эльгу и означало для него вернуться домой...

* * *

Обещане снился родной дом и отец. Удивительное дело – замужество и Домарь не снились ей никогда, будто эти четыре месяца сами были сном. Сон был какой-то самый простой: будто входит она в избу, а отец сидит у окна, за щеку держится и жалуется: зубы болят, жевать не могу. А она уже идет к нему с горшочком: вот, говорит, шалфея отвар, надо полоскать, сразу полегчает... И довольная такая, что сумела родному батюшке помочь...

А потом рядом возникло движение, голоса... Обещана приоткрыла глаза, жмурясь на огонь лучины.

– Вставайте все! – раздавался повелительный, бодрый голос юной ключницы Малуши. – Все-все поднимайтесь, живо! Работы нынче невпроворот, всем хватит! Послы от немцев воротились! На обед к княгине пожалуют.

Обещана отбросила овчину, подтянула вязанные чулки и вытащила из-под изголовья сложенную дергу. Кто-то из отроков, в кожухе, уже сидел у печки, засовывая полешки в обложенное камнем жерло. В девичьей избе было холодно, но некогда ждать, пока согреется: надо за работу приниматься.

– Векоша, Веретилка, Суровка – масло сбивать! – Малуша, уже одетая и умытая, раздавала уроки челяди. – Обещана, Травея – кашу варить. Зябка, Богуша, Лиска и вы две – муку просеивать! Сегодня тесто ставим, княгиня приказала, прямо с утра!

Значит, младшая ключница уже успела получить указания от княгини; видно, госпожа пробудилась раньше всех. Обещана соскользнула с полатей на лавку, где спала Векоша, старуха, которой было уже не под силу лазать вверх, и присела, чтобы наскоро перевязать косы: чесать было некогда. Этим она займется, когда поставит воду.

– Ох ты ж! – Векоша тоже протирала глаза. – Когда ж они приехали? С вечера не было никого...

Накинув свой старый кожух и вдовый платок, Обещана сквозь густую мглу побежала по мосткам к поварне. За ней торопилась другая челядинка, Травея, женщина средних лет. Работать приходилось много: у княгини было обширное хозяйство, а припасы привозили из ее сел под Киевом, где ее же челядь пасла скотину и возделывала сады и огороды. У себя на дворе княгиня никакой скотины не держала, кроме трех лошадей для спешных поручений – не хотела вони и возни с кормлением и уборкой навоза. Всякий день с утра на двор въезжали возы с целыми тушами то бычков, то свиней или баранов; привозили битых кур, гусей и уток, репу, капусту, лук, морковь, яйца, корзины со свежей днепровской рыбой. Большими котлами варились похлебки из гороха с салом и луком, из рыбы и репы, разные каши и кисели. Бывало, что Обещана целыми днями чистила рыбу или резала лук. Или жарила что-нибудь. Для хлеба и пирогов были особые печи и отдельная клеть со своей челядью. На каждом пиру съедалось столько соленой рыбы, или сала, или мяса, или вяленой рыбы, что Обещана диву давалась – в Укроме столько расходовали на священных праздниках, три раза в год. Всякую седмицу князь привозил с лова дичину, присылал матери туши оленей, лосей, вепрей; а диких гусей, лебедей, глухарей считали десятками. Их тоже нужно было разделять – что-то жарить к столу, что-то солить или коптить впрок. Для княгини с дочерью и гостей за домашним столом готовили ее

избяные служанки – Совка, Деянка и печенежка Инча. Они же подъедали и остатки, но иногда, по дружбе, давали той или другой то полпирога, то княжеской каши с доньшка горшка.

Женской челяди на дворе было много – десятка два. Половина были такими же, как Обещана – из тальбы, иные жили здесь уже немало лет. Другие были из подарков, полученных княгиней – эти девки были самые красивые, ловкие на руку, голосистые. И тех и других княгиня порой выдавала замуж и давала им приданое. В первые дни, когда Обещана сюда попала, еще много было разговоров про какую-то Снежицу, которую у княгини со двора похитили из-за любви. Виновен был кто-то из Святославовых гридей, и взамен нее князь и подарил матери Обещану.

Работа Обещану не пугала – дома она тоже мало сидела без дела. Куда больше ее угнетало то, что она вдруг оказалась одна, как былинка у дороги, и до чести ее и доли никому не было никакого дела. Поначалу о ней было много разговоров, не раз ее звали в избу к княгине – снова рассказать про обетный перстень. Но, боясь уронить себя, Обещана избегала любопытных взглядов, а на мужчин и вовсе не поднимала глаз.

Сдружилась она только с младшей ключницей, Малушей. Эта дева с длинной русой косой подала ей первый кусок хлеба в этом доме, и Обещана дичилась ее меньше, чем всех остальных. Иногда им случалось что-нибудь делать вместе, что занимает только руки, и они подолгу разговаривали. С изумлением Обещана узнала, что младшая ключница – родная внучка бывшего киевского князя Олега Предславича и дочь бывшего деревского князя Володислава! И это еще не все: в ее предках были властители других разных земель, о которых Обещана сейчас слышала в первый раз и, изумленная, не могла поверить сразу. Дева, которой полагалось бы сидеть на княжьем столе, вместе с ней резала лук за длинными столами поварни, снимала сливки, подавала на стол княгине Эльге!

Однажды Обещана шла из поварни в гридницу с корытцем, полным жареной рыбы – отрокам накрывали ужин. Глядя под ноги, чуть не наткнулась на кого-то, едва не упала, но чьи-то руки крепко схватили ее за локти. Вздвогнув, она вскинула глаза – и охнула. Перед ней было знакомое лицо – неоднократно сломанный нос, будто горный хребет, глубоко посаженные серые глаза, одна бровь выше другой из-за давнего шрама. И чем-то таким близким на нее повеяло от этого лица, что Обещана невольно улыбнулась, глубоко вдохнула, словно хотела закричать от радости, но не сразу вспомнила имя.

– Вот ты где... бойкая куница! – сказал знакомый низкий голос, и звучал он куда мягче прежнего.

Похоже, светлобородого мужчину тоже позабавила внезапная встреча. И Обещана его вспомнила. Это боярин... то есть десятский той дружины, что привезла ее сюда. Стер... Стенар его зовут, он рус. И чего она, дура, обрадовалась?

– Как поживается? – Стенар взял у нее корыто, которое ей было тяжело долго держать на весу. – Ты теперь при самой княгине, да?

– Живу... вот, – Обещана растерялась.

В ее памяти лицо Стенара было крепко соединено с ее последними днями в родных краях – она видела рядом с ним и отца, и Медвяну. Вот почему его вид так порадовал – здесь, в Киеве, Стенар напоминал ей о доме, казался человеком из родной волости.

– Как тебе здесь? Не обижают? – продолжал Стенар. – Может, чем помочь?

– У меня... все хорошо, – Обещана отобрала назад свое корыто. – П-пусти... мне надо идти... нам нельзя... с чужими разговоры вести... мне строго наказано... чтоб ни с кем...

– Да я не собираюсь тебя оболящать! – ухмыльнулся Стенар. – А если кто привяжется, скажи – мы разберемся!

Обещана обошла его и двинулась своей дорогой. Беляница, старшая ключница, в первый же день ее строго предупредила: с чужими людьми – никаких любезностей.

В гриднице стало ясно, почему Стенар здесь – среди бояр сидел Унерад. Он уже совсем окреп, выглядел бодро, погибший глаз был закрыт умело сделанной повязкой из кожи. Унерад был уже ничуть не похож на того пышущего жаром умирающего с кровавой гнойной дырой вместо глаза, каким она узнала его в Горинце, и Обещана косилась на него, узнавая и не узнавая.

Зато он узнал ее. Конечно, боярин не мог здороваться с княгининой челядинкой и спрашивать о здоровье, но по взгляду, который он на нее бросил, когда она подавала рыбу на стол, Обещана поняла: он отлично помнит, кто она такая и откуда здесь. И вроде даже слегка рад ее видеть. Хотя, быть может, улыбка, что померещилась в его взгляде, относилась вовсе и не к ней.

Сегодня, в день встречи послов, Унерад появился снова, в числе первых. Гости лишь стали съезжаться на княгинин двор, а челядь еще готовила столы, когда Обещана увидела в кучке людей перед дверями знакомую рослую фигуру. Она как-то узнала его даже сзади, хотя видела только спину под красным плащом и бобровую шапку, крытую малиновым шелком. Он стоял подбоченясь, разговаривая с какими-то боярами и Эльгиным десятским, но, когда Обещана проходила мимо, взглянул на нее так живо, что ей показалось – сейчас поздоровается. Однако он лишь быстро опустил веко над здоровым глазом и тут же снова поднял. Она отвернулась, сжимая губы, чтобы не улыбнуться. Против воли она радовалась этому краткому привету; Унерад погубил ее жизнь, но он же был чуть ли не единственным здесь человеком, который на самом деле знал, кто она такая, какого отца дочь. Для него она была прежней Обещаной Воюновной из Укрома, а не одной из многочисленных служанок, которую звали «эй, красотуля!», когда надо было подлить пива в чаши... Под его узнающим взглядом Обещана вновь становилась прежней, и сейчас это для нее было дорогим подарком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.